

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 21 / 2017

ДО И ПОСЛЕ



ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах

АиП

№ 21

Берлин **2017**

Редакционная коллегия:

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ
(главный редактор)
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ
КАРЛ АБРАГАМ

Форматирование
Иосифа Малкиэля

Альманах иллюстрирован
работами Адольфа Ошерова
(см. статью на стр. 178)

ISBN 978-3-926652-88-1

Произведения, представленные
на страницах Альманаха,
публикуются в Берлине впервые.

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
Права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка на
Альманах обязательна.

Альманах отпечатан:
Druckerei CONRAD CmbH
Breitenbachstrasse, 34 – 36,
13509 Berlin, Tel 40 20 53-0



Der Klub der Literatur und Kunst bedankt
sich ganz herzlich beim Vorstand der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin für die
Unterstützung bei der Herausgabe des
Literarischen Almanachs «Do i poße» № 21

Берлин, 2017

ДО И ПОСЛЕ
Литературно-художественный
альманах №21

Берлин, 2017



Игорь Коган

ШАРЛАТАН 8

(Начало см. в альманахах «До и после» №№14 – 20)

Исповедь Господа Бога

(документально-фантастическая и фантастически-документальная история – одна из его многочисленных земных жизней, написанная самим Шарлатаном и адаптированная для понимания простыми смертными его единственным другом и наследником его рукописей).

«Ты не заслужил СВОБОДЫ – ты заслужил тяжкое бремя «ЗНАТЬ».

Прелюдия 1-я (надземная)

«Я тебя не понимаю! Я просто отказываюсь тебя понимать! Что ты привязался к этой планете? Сдалась она тебе? Ты – имеешь право выбора. Ты – свободен. И всё же – из раза в раз, из жизни в жизнь, ты выбираешь землю... Позволь задать тебе вопрос. Это всё из-за неё? Из-за этой... Ну прости... прости! С языка сорвалось. Но ты не можешь помочь. Ты не вправе... Она должна сама... Всё – сама... Пока не отработает... Пока не проживёт всё, что ей положено прожить... Пока не отмучается... Как ты. Как мы. Мы – вечно свободные. И потом, ты же знаешь, она просто не успеет. Земля перебрала свой лимит... Тебе известно о решении Совета Вселенных. – «В расход» – так, кажется, говорили во время гражданской войны в бывшей Российской Империи, – к стенке и в расход»...

Что я мог ему ответить... Он был прав. Прав во всём, кроме одного. Нашу свободу и право выбора мы понимали по-разному. Он получил их для себя. Я – для других...

Прелюдия 2-я (сон)

Закатное солнце, милое-милое, ласково согревало землю. С противоположной стороны, точно против солнца, на землю смотрел я. А под нами, по зелёной-зелёной, в жёлтых веснушках поляне, бегали, играли, кувыркались, обнажённые люди – мужчины, женщины, дети. Они были так радостны, так счастливы, что я сам, глядя на них, заливался счастливым смехом. Как прекрасно, испытывать счастье от того, что счастливы другие. Как несправедливо, что человек обретает способность радоваться за других, только попав на небеса. Считанные единицы получают этот дар вместе с очередным воплощением как особую милость... Но было ещё одно: под цветущей поляной, под травой и одуванчиками, совсем неглубоко, было захоронено моё будущее взрослое тело...

[7]

Этот сон я получил как напутствие к одной из последних жизней. Получил как награду, которую не оправдал и загремел ещё на несколько воплощений... Он начал мне сниться ещё внутри мамы... Потом несколько раз в месяц. Иногда два-три раза в неделю. Затем, всё реже, реже и к тридцати годам перестал приходить совсем. Чем больше я делал ошибок и неправедных поступков, чем больше приносил горя своим близким и неблизким, тем чаще наверху укреплялись во мнении – пора завязывать со мной цацкаться, вряд ли я оправдаю хоть малую часть того, что предполагали на меня взвалить.

– Жаль – холостой выстрел. Пусть доживает, как хочет. У нас и так дел невпроворот. Кто там следующий?

Прелюдия 3-я (земная)

– Сколько раз я тебе говорила – не смей показывать пальцем, это неприлично.

– Почему?

– Потому что не принято.

– Кем?

– Что, кем?

– Не принято кем?

– Не знаю, так было всегда.

– Что такое всегда?

– Не морочь мне с утра голову, опять в детский сад опоздаем.

В каком странном мире придётся на этот раз прожить жизнь. Пальцем показывать нельзя. Голым ходить нельзя. Пукать неприлично. А что можно? Общаться в детском саду с недоумками? Стоило для этого находить меня в капусте! Они думают, что если произвели на свет мою «чудесную белую попку», а затем обслонявили её сверх вся-

кой меры, так уж и есть мои родители. Нет – конечно же, я их люблю. Нельзя не любить тех, кто так тебя любит, и потом, они как две капли воды на меня похожи. Бедные – они не знают, почему нельзя показывать пальцем. Из пальца выходит мощная энергия и тратить её просто так действительно нельзя. Мне можно – пока. Они не знают, что такое «всегда». Сказать им – не поверят, а меня по врачам затаскают. «Скучно жить на свете, господа», вот когда я вновь стану Богом. Почему, собственно, стану? Я и есть Бог. Просто моей божественной сущности ещё не настало время проявиться. Возможно, под влиянием разного рода обстоятельств она в этой жизни вообще не проявится. Что ж, поживём – увидим... Когда человеку исполняется пять лет, ему ставят блоки на память прошлых жизней. Кому полностью – кому частично. Будем надеяться, что минует меня чаша сия... В конце-концов я из тех – вечно свободных... Я своё отбарабанил... Слышали б мои нынешние предки, что я тут вещаю... Психушка рядом – палата на троих...

Глава первая

Не знаю, с какой ноги сегодня встало Солнце, какие там появились дополнительные пятна, но к двенадцати часам оно так раззявилось, так распялило свою огнедышущую харю, такой разразился крематорий, что московский асфальт и всех, кто его попирал, можно было оптом свозить кого в морг, кого в реанимацию. Ветер куда-то быстренько свалил и, выплеснув горячий язык, тайлся где-то – в каких-нибудь тёмных прохладных подворотнях, которыми полна старая, центральная Москва.

Однако – какое мне до этого дело. Мне – молодому и здоровому. Уже целых пять минут – результат пяти пропащих лет – новенький, вожделенный диплом, грел мне душу и не только грел – внушал изрядную дозу неопределённости: делать-то теперь чё – чё делать-то? В голове вакуум, как в пустышке у младенца – соси не соси – всё без толку. Сокурснички, как заведённые скачут – скоро пить начнут. В такую-то жару! А завтра что? Встал я и пошёл из аудитории вон.

– Ты куды, Адисей? – пальнул мне вслед великий матерщинник и курсовой хохмач Моня Мокрицкий по кличке «ММ», – а водка!

– «В этой жизни помереть не трудно», бросить пить значительно трудней, – пропел я в ответ, и Моня отстал.

– Ты опять не со всеми?

Потаскливо-пристальный взгляд Аинки Шешковской, в просторечии «класСной дамы», на мгновение пригвоздил меня к полу у самого выхода.

– Опять, – отрезал я и, опустив зенки долу, чтобы в очередной раз не вляпаться, быстренько проскочил мимо.

С Аинкой лучше долго не болтать. У неё Венера в Овне, а Луна в Скорпионе. Как сказал один именитый астролог: «Тут надо сразу – «Я импотент с детства, вот справка», или – «Да есть, но маленький», – быстрей отстанет». Вообще-то Аинку жаль – тяжелый случай, почти безнадежный. Такие женщины либо стопроцентные монашки, либо сто процентов наоборот. Случаются варианты просто смертельные – так называемая «золотая секвенция»: грешит и кается, грешит и кается, грешит и кается, причём всё на полном серьёзе. Самое главное не смотреть Аинке в глаза, когда ей придёт охота завалить тебя в койку, или зажать в каком-нибудь углу: посмотришь – считай, пропал – точно завалит, по себе знаю.

Венера в Овне и Луна в Скорпионе придают человеческой особи совершенно неотразимый шарм, этакий, в зависимости от пола и независимо от внешности, умопомрачительно-сногшибательный зов вальяжного льва или грациозной пантеры. Если такое выпадает мужчине, то ему и охотиться не надо – коленки у женщин сами собой подгибаются. Неважно где, неважно как – лишь бы сожрал. Как говорится: «Дичь можно руками». Ежели подобный расклад достаётся даме – тут разговор особый. В нашем мужском мире Артемидам живётся не сладко. Им обеспечено девяносто процентов мужского внимания и сто тысяч процентов ненависти остальных женщин.

В прошлой жизни Аинка была примерной женой и многодетной матерью. Настолько примерной и до такой степени многодетной, что родись она в СССР, точно стала бы «мать-героиня» и доску мемориальную на грудь повесила – «За Советскую Добродетель». Однако не всё коту масленица. В Советском союзе она родилась не в том воплощении, а в этом. Мужей у неё будет несколько, любовников уже сейчас туча, детей не будет вообще. Там, наверху, считают – для полноценного космического общения, душе человеческой все ипостаси пройти необходимо. Богатый опыт материнской и семейной жизни душа Аинки получила, теперь на оборотной стороне медали надобно площадку утаптывать. Странные наверху критерии... Нам – плотнотелым, не понять.

Вышел я из Alma-mater – и направо по Камергерскому. Дошёл до угла, постоял, соображая и, оставив за спиной Красную площадь, свинтился в Тверскую: пошёл юлить на рысах промеж распаренных как брюква, на замосковских сотках встречных и поперечных. Вдоль разухабистых, скуластых громил, построенных пленными немцами, Моссовета, памятника Юрию Долгорукому, видать специально для меня основавшему Москву точно на восемьсот лет раньше... Не знал он – Княже – восемьсот лет назад я тоже...

– Молчи, дурак! Нагрёбёшь себе в этой жизни на шею, если уже не нагрёб! Молчи лучше – за умного сойдёшь!

Пока Ангел-хранитель, или просто соглядатай – наверху, говорят, тоже есть «сексоты» – учил меня жить, я проскочил на автомате ещё метров двести – вплоть до родного актёрского дома. Эх, мать честная! Сколько тут выпито было! Какой татар-бифштекс! Сколько девочек! Как любит повторять Мона: «Ты, теперь, на мне женишься?» – «Я тебе позвоню».

[10]

Мона ещё тот фрукт. В предыдущем воплощении наследил он сверх всякой меры. Предавать тех, кто готов для тебя на любые жертвы – грех непростительный. За всё придётся платить – не в этой жизни, так в следующей. Через полгода с Моней точно так же – один в один – поступит его любимая женщина, и Мона повесится. Равновесие – закон нашей Вселенной. Что отдал – обратно вернут. Что взял – по-любому отнимут.

Впрочем, у меня своих проблем выше крыши накопано...

Пустив скупую слезу и пару раз всхлипнув по поводу канувшей в Лету студенческой поры, перекочевал я через подземный переход к другому берегу, «пред светлы очи» и к стопам Александра Сергеевича Великого. Облобызав стопы сии и поглазев на пропотевший обывательский полусвет, поплыл я вниз сквозь каменные джунгли Большой и Малой Бронных. Вышел на Патриаршие пруды, постоял, перекрестился, помянул Берлиоза, суеверно обошёл место, где Аннушка масло разлила, прихватил за талию симпатичную девчонку, лучезарно улыбнулся, сообщил, что отправляться в гости к председателю Массалита катастрофически рано – лучше ко мне, огрызнулся на девчонкиного парня, и дворами рванул к Арбату. Солнце к тому времени, малость подустало, очнулся и выпорхнул из подворотен лёгкий ветерок, в небе завелись редкие кляксы, а между ними яснейший лунный блик. Короткие, кряжистые тени вытянулись, расплзлись по стенам домов стрелчатými осками, зауглили и без того не прямые, разомлевшие от жары арбатские переулки. Ближе к вечеру, бездумно пропетляв по истомлённо-притихшим Окуджавско-Булгаковским дебрям, спустился через Смоленскую площадь к Москва-реке на Саввинскую набережную. Окунулся в ещё не остывшую пустынно-плескучую тишину с терпким запахом липы. Постоял напротив глыбастого мастито-сурового дома, построенного в конце двадцатых для высшего комсостава.

Тёмная у дома история. «Хлебовозов» здесь побывало не меньше чем у пресловутого дома на набережной. Ещё живут здесь затерянные, древние старушки, бывшие генеральши – вдовы с пятидесяти-семидесятилетним стажем. Бредут они по утрам согнуто-сторбленными

теньями за бутылкой молока и половинкой хлеба, крепко-крепко, чтоб не вырвали, вцепившись своими иссохшими крючьями в такую же иссохшую, задрипанную авоську. У некоторых до сих пор не истёрлись, не изжились ещё следы былой потрясающей красоты, породы и чувства собственного достоинства. Любили новоявленные советские дворянчики – бывшие рабы – так рабами по нутру своему и оставшиеся, брать себе в жёны либо в любовницы именно таких женщин. Тешили худородные, родства не помнящие подонки, свои хамские души...

[11]

В конце «Савки», так прозвала набережную старшая шпана, среди которой мне пришлось вырасти, свернул налево, и по загогулистому Малому Саввинскому, настолько темнолицому и трущобному, что шёл я по нему только памятью детства, поднялся до родной Погодинской улицы. Именно здесь, в доме номер 18а квартира 23, в бывших келейных помещениях Новодевичьего монастыря, провидение родительницу мою воспроизвести сыночка на свет божий сподобило. Дом длинный, двухэтажный, на три части поделённый: жилая, родильная и детский сад. Так что меня из одного подъезда в другой перенесли.

Пока мама пребывала после родов в некотором забытии, к ней пришёл голос.

– Ну что, – издевательски ёрничая, спросил голос – хотела гения? Теперь хлебнёшь...

Дом наш стоял всего в трёхстах метрах от Новодевичьего монастыря – одного из самых красивых на Москве. Лет через двадцать пять здесь будет дорожущее, элитное место, а тогда – юго-западная окраина района Хамовники. Дальше только монастырь, а за ним холмы, пустоши, да овраги – Воробьёвы горы, да заливные луга – Лужники.

Хамовникам несколько столетий. «Хам» это лён – лён высшего качества. Ткать его умели лишь в Твери, а на Руси знали уже в XIV веке. Ещё в Новгородском княжестве лён был основной сельскохозяйственной культурой. В употреблении были такие слова как хамунька – старая изношенная свитка из льняной ткани, хамойка – пучок мочала, схожий с пучком льна, а в одной берестяной грамоте встречается выражение: «хаму три локти». В XVII веке бытовало слово хамьянь – шёлковая ткань.

Когда спрос на русское льняное полотно резко возрос, и продавать его стали с великими барышами по всей Европе, сюда, рядом с Новодевичьим монастырём, в 20-х годах XVII века, привезли на поселение из Тверской Константиновской слободы мастеров-умельцев.

Первое название слободы – Тверская Константиновская, затем Тверская Константиновская Хамовная слобода, потом Хамовники Тверские под Девичьим монастырем. Народ длиннот не любит, а потому в конце-концов остались сначала Хамовный (то есть льняной)

двор, а затем Хамовники. Слово двор, в то время, употреблялось в значении «производство, предприятие»: так же как Пушечный и Монетный дворы. Все жители слободы числились по государеву приказу и, будучи в полном распоряжении Хамовного двора, делали «государево хамовное дело».

Раз слобода Государева, и дорога должна быть Государева. Дорога была. Она и посейчас есть, возрастом не моложе Хамовников – крупная булыжная мостовая, из которой за века камешка не скрошилось. Характер дорога имела премерзостный, оголтелый и сквалыжный – чисто торговка на одесском привозе. Когда по ней проезжали машины, особенно грузовые, она разражалась такой гулкой канонадой, такой гремучей раскатистой бранью, что в нашем, стоящем совсем рядом доме дрожали стёкла, съезжала со стола посуда, расплёскивался чай. Жильцы, окна которых выходили во двор, – и те уши затыкали.

Соседи в нашей коммуналке были самые разные: инженер, музыкант, просто работяги, даже работник отдела культуры ЦК партии. Он жил в самой большой комнате. Более всех мне запомнилась Фёodosия Васильевна – круглая, тёплая колобчиха. Она подкармливала меня своей выпечкой и пирожными. Таких пирожных нигде более есть не приходилось. Это были аристократы, интеллигенты в сотом поколении, настолько утончённым был их вкус. Живи она в Европе или Штатах – стала бы миллионершей. Имя её могло греметь наравне с именами Кутюрье высокой моды. Лучшие кондитеры Франции валялись бы у неё в ногах вымаливая кулинарные рецепты.

На краю Новодевичьего рва, за которым безопасил себя монастырь, располагался настоящий цыганский табор. Несмотря на строжайшие запреты – нам говорили, что цыгане детей крадут – мы частенько их дразнили. Родители ловили нас и пороли. Для папы я был настолько неприкасаем, что он под мамин ремень руку подставлял. Мама сначала порола, а затем плакала: «Ты хочешь, чтобы они тебя сглазили, порчу навели?» – говорила она.

Мама не могла знать того, что и мне знать не очень-то хотелось. Сделать мне гадость конечно можно, но сглазить – я сам сглазить могу. Так гневом ушибу – жить не захочет, да нельзя мне – по жизни нельзя. За-пре-ще-но!!! Даже мстить запрещено. Тридцатый градус скорпиона просто так не даётся.

В тёмных бараках, расположенных почти у самого табора, жили несколько семей. Я знал там одного мальчика старше меня на несколько лет. Родителей Луиса убили франкисты, и его приняла к себе одна московская семья. У них была родная дочь – Катя. Впоследствии он женился на ней и увёз в Испанию. Луис был высокий, стройный, гордый и очень надменный. В его глазах таилась какая-то страшная

решимость. Если он говорил «сделаю» – считай, уже сделал. Коляну, заводиле нашей дворовой шпаны, которая периодически меня трепала, Луис пообещал: «Еще раз его тронете – убью лично тебя». С тех пор я стал полноправным членом дворовой компании в своей возрастной категории.

У самых стен монастыря, изначально, покоится большой, заросший пруд, служивший когда-то защитой от врагов. Сколько летних ночей я провёл наедине с этим прудом – не сосчитать: все травинки на берегу отсидел, отлежал, отнюхал, звездоловом заделался. Каждую звёздочку на небесах углядывал, находил её отражение и, осторожно, чтобы не спугнуть, вылавливал сачком для бабочек. Таинственно и страшно, подрагивали на бездонной недвижимой черноте и фантастическая звёздная россыпь, и лунный отблеск монастырских куполов. А как интересно было следить по часам за движением луны. Всего-то десятки минут! Мне тогда в голову не могло прийти, что также скоро, как луна проходит свой путь по водной глади, проходит и жизнь человека – не жизнь даже, а всего лишь отражение подлинной жизни во Вселенной.

«... Если тебя спросят – Как перейти жизнь? – ответствуй – Как по струне над бездной – Красиво, Бережно, и Стремительно».

Когда мне исполнилось восемь лет, родители переехали на новое место. В шести остановках от Погодинской примыкал к Зубовской площади коротенький, длиной в один двор, Дашков переулок. За чугунной изгородью расположились два старинных особняка, принадлежащих когда-то графам Воронцовым-Дашковым. В одном из них, прежде чем обосноваться в Кремле, устроил свою резиденцию антихрист Буонапарте. Особняки стояли на печах и имели четырехметровые потолки. Зал для танцев и приёмов, ещё в двадцатых годах, разделили перегородками и устроили коммуналку. В новой комнате, большей, чем прежняя, имелись антресоли с крутой лестницей. Там был устроен папин кабинет.

Из новых соседей мне запомнилась только Мария Абрамовна, да её сын дядя Виля – огромный, пропитой шоферюга. Была, впрочем, еще одна семья: отец и муж Николай Сергеевич, жена его, тётя Нюра и сын, старшеклассник Артём. Когда мы переехали, он учился в десятом. Николай Сергеевич работал машинистом на Московской железной дороге, тётя Нюра – домохозяйкой. Отец и сын – крепкие, самостоятельные, ни с кем в нашей коммуналке не общались, только здоровались. Окончив школу, Артём пошел по стопам отца: сначала железнодорожный техникум, затем институт, потом обзавёлся семьёй и переехал к жене.

В 1965 году наш коммунальный особняк приглянулся районному ГАИ. Когда высокий, уважаемый полковник с седыми висками и орлиным профилем явился осматривать дом, наших кухонных домохозяйек хватил кондратий, настолько он был, по-видимому, хорош собой.

– А что это они все так обалдели – задал я вопрос.

– Их спроси, – хмыкнув себе под нос, сказал отец, и, поднимаясь на антресоли, отчётливо пробурчал – бабёе чёртово, так бы все и улеглись прямо на кухне – заразы. Ещё нас стыдят. Да мы им в подмётки не годимся.

Дом полковника удовлетворил, и нас в течение полугода расселили по отдельным квартирам.

Двухкомнатная жилплощадь была крохотной – двадцать четыре квадратных метра, но с большой, в восемь квадратов, кухней. Дом блочный, девятиэтажный – в двухстах метрах от общежитий МГУ. То ещё соседство, но мне нравилось. Почти все – приезжие. В основном, женского пола, и все осесть в Москве мечтают, замуж то есть – лафа!

В этот дом переехал и Николай Сергеевич с тётёй Нюрой. Сталкивались мы очень редко и всегда только: «здрасьте». Как-то после армии, будучи на втором курсе, возвращался я непролазной, окслизой осенью, бог его знает – откуда. Природа в эту пору вконец остолбене-ла. Вторую неделю стояла отчаянная мертвецкая тишина. Ни ветерка, ни шёпота. Отсырелая, снулая морось – эдакая молекулярная взвесь молчаливо ниспадала с нависших грязно-серых лохмотьев, методично захлёбывая и так уже вконец упившуюся почву. Видать, кто-то там наверху – из наших – взгрустнул немного, засмотрелся, вспомнил прошлое, всплакнул, они ведь тоже люди, удалил свой взор в эпоху канувших в небытие перворождённых вселенных, ну и забыл на время про эту убогую планетку.

У самого подъезда стылой расплывшейся тенью сидел на раскладном стульчике Николай Сергеевич – старый-старый и такой безнадежный – аж до слёз.

Ну я, как всегда:

– Здрасьте.

– Здравствуйте, – говорит. – Редко вас вижу.

– Да так как-то, – отвечаю. – Дела всё.

– А я вот один остался. Артём умер, туберкулёз у него. Нюра за ним – мать всё-таки... Не пережила... Быть может, и к лучшему... Нет ничего горестнее и мучительнее, чем каждый день видеть, как стареет твоя любимая женщина. Мужик он что – он и есть мужик, а женщинам зачем стареть? За что им это? За яблока кусок? Эх, да что там... Внука не привозят. Дома без нужды сидеть. А так – всё не один – люди ходят. Вот стихи пишу, – и показал мятую школьную тетрадь. – Всю жизнь

работал, работал... – губы у него задрожали – а что после меня? Может стихи останутся... найдёт кто...

Больше я его не видел. Слышал, что ранней зимой Николая Сергеевича не стало.

Не знал и не мог знать Николай Сергеевич, что покойный сын его совсем малыш был. Он прожил на земле всего вторую жизнь. Первый раз он родился в конце 19-го века в семье железнодорожного рабочего. В пятнадцать лет стал чернорабочим-коновозчиком, потом учеником слесаря. Служил в войсках морской крепости Петра Великого в Ревеле. Там же стал большевиком, активнейшим революционером и остался им до самого конца своего первого на земле воплощения. В гражданку партизанил, проявил незаурядные оргспособности и быстро продвинулся вверх по чекистской лестнице. Подавлял восстания крестьян в Восточной Сибири и на Урале, там же руководил ревтрибуналом и Губкомиссией ВЧК, а после ГПУ, а затем и НКВД – много чего натворил от сердца чистого и убеждённого. Там же надорвался и, заработав третью стадию туберкулёза, был отправлен на пенсию. Вскоре после его смерти дочь Нюра родила сына Артёма, то бишь Артёма Николаевича. Откуда могла знать Нюра, что совсем недавно, всего полтора года назад, ещё не родившийся сын Артём был её отцом, Павлом Петровичем Марцевым. Человек с тяжёлой кармой быстро назад возвращается. Карму отрабатывать надо, да постараться ещё новую не заработать.

«Жизнь идёт вперёд и всё по голове», – любит повторять Мона Мокрицкий. За кучей молодых и глупых дел, эта самая жизнь мало заметна, как говорится «... суета – сует и затеи ветреные».

Последний взгляд Николая Сергеевича мне пришлось вспомнить через несколько лет. Папа сидел на диване и смотрел через окно вдаль. Не вдаль даже – в никуда. Быть может, и не в прошлое, а ещё дальше. В его глазах не было будущего. Этим глазам были одинаково безразличны и сочувствие друга и ненависть врага. То же самое застыло в его взгляде, когда через десять дней он скончался.

В конце сентября погода совсем спятила. Несколько дней подряд, то град, то дождь, то снег. Температура металась в течение суток от плюс десяти, до минус пяти градусов. Вся эта вакханалия доконала папино сердце.

Утром я, как всегда, уходил на работу.

– Осторожней через дорогу, – сказал отец.

– Иди ты к чёрту, – ответил я уже в дверях. – Говоришь всегда под руку.

По понедельникам, в девять утра, собирался худсовет. Минут через десять в дверь постучала секретарша. Глаза у неё были расширенные и жалкие.

– Мама – вас. Срочно.

Быть может, отец ещё и пожил бы, но к гражданам СССР старше шестидесяти, бесполезным для государства, скорая помощь, как правило, не торопилась.

Шесть лет я не мог прикоснуться к папиным бумагам, когда же, наконец, открыл секретер, то первое, что мне попало на глаза, была затёртая записная книжка. Отец скрупулезно записывал, по числам и по часам все слова, все эпитеты, которыми я его награждал. Как же беззащитны перед детьми родители из-за своей любви. Оценить и понять это можно только после того, как родишь детей своих и сам получишь от них свою порцию оскорблений.

В мой новый мир, точнее мирок я вписался достаточно легко. Стайки дворовой послевоенной шпаны в пятидесятых годах прошлого века обретались в каждом Московском закоулке. На крымском мосту, мы – мелкота, тёмными вечерами, отбирали у одиноких прохожих и влюбленных парочек шапки, коньки, деньги. Короче – что могли, то и отбирали. Весь улов отдавали старшим ребятам. У них были клички: Бен, Квадрат, Султан, Ленин. Они оставляли нам мелочь на наши «дурацкие» расходы.

Жизнь у меня была двойная: на улице – указанная выше, а дома – дома я тоже делал не то. Родители за мной не следили, а потому вместо Жюль Верна, Гайдара и Луи Бусенара, я таскал из папиной библиотеки и зачитывал до дыр Оскара Уайльда, Анатоля Франса, Мопассана, Золя, Бодлера и прочих французов, коих во многих местах детям до восемнадцати хорошо бы не читать. Многое я просто заучивал наизусть, особенно афоризмы: «Добродетель никогда не красила хорошеньких женщин, она подстать только дурнушкам», «Женщина без груди всё равно, что постель без подушки», и вставлял их по поводу и без, заставляя одноклассниц скромно опускать глазки и застенчиво хихикать. С пятого класса я начал ухлёстывать, а потом и встречаться с девчонками из восьмого. Что с них взять – с пятиклассниц... Их лапоть-то не за что... Деньжата у меня водились – не все же мы отдавали старшим, кое-что утаивали, а посему угостить подружку мороженым, купить цветы, сводить в кино, и т.д., и т.п. я мог почти всегда. Особенным шиком было купить билеты в последний ряд кинотеатра, так чтоб никого за спиной, и лезть целоваться.

Они мне снились – пачками, штабелями, рядами и колоннами. Что я творил с ними! Господи! Мои фантазии, усиленные прочитанным и рассказами старших, были безграничны. Когда в реальности, девяносто девять процентов моих фантазий оказались просто невозможны физически, я был крайне разочарован.

А дело было так: ничего большего, окромя разовых поцелуев и

примитивного лапанья в тёмных кинозалах, я от своих восьмиклассниц так и не добился. Старшие пацаны, для которых мои поползновения не остались тайной, решили меня образовать, для чего договорившись с некой многоопытной девицей, послали к ней с каким-то пустяшным делом.

Средней пышности брюнетка, увидев меня, кривенько ухмыльнулась:

– А платить кто будет?

– За что? – спросил я.

– Так ты, милый, не в курсе – ну, идём...

Боже, что с ней было! Гомерический хохот просто цветочки – она ржала, ржала так, что звенели стекла.

– О-о-о-хо-хо-хох, о-о-хх-хох... где... ты... этого... набрался... кто... тебя... о-о-о-ххо-о-о, – её просто конвульсии сотрясали. – Это же невозмож-но... ни ка-а-а-к а-а-хха-а-а-а...

Минут через пятнадцать она затихла, только тихонько постанывала.

– Это... это лучше любого оргазма. Ты знаешь, что такое оргазм?

– Знаю – сказал я. – Читал.

Её снова согнуло и она запала еще минут на двадцать...

– Всё, – сказала она протышавшись. – Не могу больше. Ты меня изнасиловал. Чаю хочешь?

Пока я пил чай и уписывал чудесные плюшки, макая их в вишнёвое варенье, она с материнским любопытством на меня смотрела, потом, как бы подводя итог, сказала:

– Ты, милый, из тех, кому надо всё и сразу. Всякие есть и такие тоже. Не бойсь – научу.

Я поднялся на монастырский вал. Глубоко под ним, в тёмной озёрной чаше, всё так же покоилась Вселенная, отражая в себе великую православную святыню, один из символов христианства – парафраз другой, более древней религии. Промигнул лёгкий ветерок – зарябила и сколыхнулась Вселенная. Чуть успокоилась рябь – и вот она уже не та, а новая совсем; ещё чудесней, и так раз за разом – волшебное слияние красоты и смерти.

Вдруг я услышал – далеко-далеко, так далеко, что даль эта только для Бога – родился звук. Родился и полетел, разрастаясь, обретая голос, раскальвая чудовищное, уже не безмолвное пространство. Звук всё приближался, и я узнал его: это был гимн, древняя боевая песня:

«Славьте Бога, и расточайте себя над землями!

Славьте Бога, и не щадите себя над морями!

Не Сионом зовётся то царство, которое вам обещал Я!

Имя ему – Вселенная».

Этой песней, альтернативой «баю-баюшки-баю», мой дед – быв-

ший кантор варшавской синагоги, безуспешно пытался уговорить меня в колыбели. Думаю, что дед лукавил: музыка подобного рода могла только взбаламутить. Скорее всего, ему было важно с младенческих лет вложить в меня то, во что он безоговорочно верил. Не верил – ЗНАЛ.

Была в этом, долетевшем до меня, звуке и другая песня. В противовес деду, мама, отпрыск целой плеяды православных наставников и профессоров Санкт-Петербургской духовной академии, усыпляла меня несравнимо эффективней:

«Ох и спи-ко по ночам, а вставай-ко по зарям,
Да расти-ко по цасам...»

«Бог тебя дал, Христос даровал,
Пресвятая Похвала в окошечко подала...»

«Баю баю баю бай – я спою тебе про рай
Там ни горя нет, ни слез, там живет Иисус Христос».

Предки имели весьма различные взгляды на мое «очеловечивание», причём весьма эгоистические. Каждый хотел вырастить во мне что-то своё – святое, а в результате на всю жизнь усадили промеж двух стульев...

Интересно – которую жисть я тут процветаю? Счёт потерял... Жил при Аврааме, при Моисее, жил в языческой и православной Руси. Теперь в СССР сослали... Не ровен час, в следующем воплощении мусульманином сделают... А предки мои – по каким мирам шастают? Снова на земле околачиваются? Кем родились: иудеями, православными, мусульманами? Кто знает... Кто нас спрашивает... Там не спрашивают, там посылают...

– Не всех, не всех. – Аинка Шешковская как из-под земли выросла. – Некоторые, которые почище-с, сами решают... Тебе твои мысли в штанах не жмут?

«Аинка! Вот зараза! Выследила! Охотница за черепами! Точнее за пенисами. Она что, меня прямо под куполами трахнуть хочет?! Ну всё! Достала! Сейчас я ей устрою!» Вдруг сквозь всё раздражение до меня дошёл смысл того, что она сказала; «Не всех, не всех... некоторые, которые почище-с, сами решают...»

– Как ты...!

– Что как? Как я здесь оказалась? Как я тебя нашла? Каким образом я, шлюха, классная дама, знаю о чём ты думаешь? Спрячь мозги, изумлённый, не мучайся, не один ты с тридцатым градусом ходишь. Умник нашелся!

«Та-а-к... Доигрался. Не зря меня сексот с нимбом доставал...»

– Откуда ты?!

– Я же сказала: спрячь мозги, мыслитель. Как чужих девок на Патриарших прудах лапать, так он без мозгов горазд!

– Следила, значит?
– А хоть бы и так! Тебе что за дело?
– Ну, ты даёшь...
– Я никому ничего не даю. Если надо беру сама – мужиков в том числе.

– Ну-ну... Венера в Овне, Луна в Скорпионе.

– Чего-чего?

– Того-того... Мужиком тебе надо было родиться.

– С какой такой стати? – глаза Аинки влажно и властно, на мгновение затмили луну, насмешливая агрессия сменилась грудным воркованьем. – Мне и так хорошо даже очень. А что такое Венера в Овне?

– Не в Овне, а в Овне. Тебе лекцию прочесть?

– Без лекций обойдусь, сосунок. Первый раз, за столько-то воплощений тридцатый градус заслужил, а мнишь себя чуть ли не богом. Мой статус выше твоего раз в сорок, я свободна и, в отличие от тебя, сама решаю, где мне жить и кем родиться.

– Кончай величаться! Зачем пришла?

– Тебя, дурака, умом-разумом насобачить. Место подходящее, намоленное, почти как у Стены Плача, опять же, – сегодня полнолуние.

– Так что с того?

– Вот я и говорю – сосунок. В таком месте стоишь, а крохи собираешь...

– Да пошла ты...

Последние три буквы так и застряли в моей глотке. Глаза Аинки сверкнули, я вспорхнул, кувыркнулся, отлетел метра на два и взбороздил рогами жирную осоку...

Вообще-то, драться мне приходилось. И я бил, и меня били, но что б вот так – безо всякого рукоприкладства! Как это, чёрт возьми, у неё получается... Пока я шарился в осоке и вошкался мыслями, раздался её голос.

– Получил? Мозгляк! Ещё хочешь? Могу добавить. Спасибо скажи, что я с тобой спала – у меня к тебе нежность, другой бы только к утру очухался.

– Ты что, совсем спятила!? И как, как ты это сделала?!

– Отряхнись, чудило. Отряхнись и слушай.

– Да ведь ты меня чуть не убила!

– Если не хочешь чтоб убила – заткнись.

– Да как же...

Её зрачки снова вспыхнули, и рядом с моей задницей загорелась осока.

– Последний раз прошу. Я могу тебя сжечь, распылить, кое за что – подвесить в воздухе. Кое за что, хочешь?

Воображением Бог меня не обидел, представить себя в подобной позе не составило труда, да и она, кажется, не шутила.

– Лучше сожги.

– Ага, стало быть тебе твои прибаамбасы дороже жизни. Мне их тоже, знаешь ли, будет не хватать. Пожалуй, я тебя сожгу, а прибаамбасы оставлю – засушу на память, то-то гербарий получится.

– Дура!

– Ну, слава богу. Ты уже вмняем. Услышь меня. Пожалей свои будущие жизни – не только эту, которую так бесталанно и безжизненно проживаешь.

[20]

Твою сущность поместили в материальное тело всего лишь на триста лет раньше Авраама. Я – не только старше – древнее. Здесь, в отличие от тебя, я работала, а не прохлаждалась, ещё в эпоху Льва – двенадцать тысяч лет назад. Тебе многое доверили знать. Многое, но далеко не всё. Понятия о карме примитивны. Закона причин и следствий толком не понимаешь, а это основной закон нашей вселенной. Какие законы в других даже моё начальство не знает. Знают те, кто учредил Совет Вселенных. Мне до них ещё дальше, чем тебе до меня. Ты получил возможность видеть прошлые и будущие жизни – чужие жизни. Это знание дано тебе под отчёт – авансом, а ты радуешься как мальчишка, мол такой вот я особенный и болтаешь, болтаешь, болтаешь. Думай не только, что говоришь, думай о том, что думаешь. Неозвученные мысли страшное оружие – держи их при себе. Подумал – раз-бол-тал. Впрочем, тебе решать. Хочу напомнить универсальный закон, который даже ты, при всей своей убогости, прекрасно знаешь – на всё твоя свободная воля...

Все люди, рождённые на этой, с позволения сказать, планетке, объединены в кармические группы. Они связаны энергетически, несут на земле определённую функциональную задачу, могут жить в разных концах земли и ничего друг о друге не знают. У каждой группы есть свой кармический лидер, остальные всё время его подпитывают. Лидер рождается по отношению к остальным членам группы в конкретном месте. Умирает он всегда последним. Догадайся с трёх раз, кто лидер в твоей компашке?

К тому времени я уже поднялся, почистился, стряхнул с башки осоку, нащупал на новёхонькой рубашке пару прожжённых дырок и обозлился.

– Конечно ты! Кто ж ещё!

– Ответ неверный – не я, а ты. Потому и дан тебе пресловутый тридцатый градус. Что касается меня, то у любой группы есть независимый от неё куратор, который знает карму каждого, следит за её исполнением, не позволяет, путём внушения определённого образа мыслей, отклоняться в сторону. Куратор вашей группы я.

– Ты!? И каким местом, дозволю спросить, ты внушаешь подследственным определённый образ мыслей?

– Будешь хамить, я тебе не только в рубашке дырок понаделаю – голым домой пойдёшь. Это, во-первых, а во-вторых, сотрудникам моего ранга позволена, в определённых рамках, некоторая свобода. Знал бы ты, какая скука десятки лет иметь дело с одним единственным мужчиной. Муж чудесный – любовник пресный. Накушалась... Должна я иметь хоть какую-то компенсацию за, мягко говоря, не очень приятные обязанности? Ну и, видишь ли, мальчик, если женщина тебя соблазнила – это её падение или твоё?

– Так то женщина!

--А я кто по-твоему?

– А бог тебя знает. Нормальные женщины такое не вытворяют.

– Нормальные вытворяют и похуже. Нахлебаешься позже, гарантирую.

– Тебе-то откуда знать?

– Мне-то как раз знать. Тебе – нет. Про всех – да, про себя – нет. Все твои рассуждения о собственных прошлых жизнях всего-навсего смутные, детские догадки, эдакое радостное недомыслие.

– Что так?

– Не дорос ещё. Через парочку воплощений, возможно, если в настоящем не сломаешься.

– А что могу?

– Ещё как можешь!

– «Фу ты, ну ты – ножки гнуты!» Так, кажется, любит говорить Моня? Давай, выкладывай, что вы там на меня взвалить собираетесь?

– Я ничего не собираюсь. Без меня взвалили. Моё дело – контроль.

– Кто тогда? Кому морду бить?

– Хочешь знать? – В глазах Аинки появилась такая бездонная, такая нечеловеческая жалость – аж под ложечкой засосало, так засосало, что будь у меня более семнадцати тысяч трехсот пятнадцати ложечек – так бы подо всеми и засосало. – Точно хочешь?

– Может не надо? – заскулил в моей башке сексот. – Рано тебе ещё, ох как рано.

– Заткнись, – сказал я. – Твой номер – шестнадцатый, ты же видишь, меня занесло.

– Как бы вообще не разнесло, – проныл сексот. – Моё дело – предупредить.

– А ты как хотел? – сексот перешёл на менторский тон. – Ты тут живёшь, тебе и ответ держать. Как проживёшь, так и ответишь.

– Всё – решили. Может, я, действительно, не всё понимаю, потому и знать хочу. Я тоже, знаешь ли, не пальцем деланный. Давай Аинка – выкладывай.

– Ну что ж, на всё твоя свободная воля – тебя предупреждали. В

нашей вселенной, подчёркиваю, в нашей вселенной, поскольку есть неисчислимое множество других, существуют иные миры – прекрасней, изумрудней, счастливей, на тысячу порядков счастливей, чем эта помойка, а точнее гадючник, а еще точнее сборище преступников и отбросов, со всей Вселенной сваленных в одну зловонную кучу грехи отрабатывать! От вас, почти ото всех, за тысячи световых лет, так смердит – нос зажимать приходится!

– А ты противогаз напяль, могу подарить, а лучше всего оставьте нас в покое. Валите! Дайте нам самим, в нашей помойке барахтаться.

– Ох, милай! Добарахтались уже! Так разбарахтались – не знаем что делать с вашей барахолкой. Будь наша воля, но мы не хозяева, не родители. Мы, если хочешь, – старшие братья, воспитатели.

– Ах вот оно как! Здорово! Сеструха! Что ж ты меня в приют, в детский дом сдала? Постой, постой... Это как же так получается, мы с тобой, сеструха, инцест сотворили?

– Ну, если иметь в виду Адама и Еву, то все вы тут инцест творите. Впрочем, повторюсь, на всё твоя свободная воля. Я ставлю тебе парочку блоков, ты всё забываешь и становишься как все. Хочешь?

– Не имеешь права! Не ты мне их снимала, не тебе и ставить! Ишь чего захотела!

– Вот то-то и оно! Все вы тут друг перед другом выхлестываетесь! Каждый желает быть первее самых первых! Славы хотим!!! Славы! Всё ради славы! Всех сделаю – съем, предам, зарюю! А знаешь ли ты, чем за неё расплатитесь?! Ну, ты-то кое-что знаешь, и то в расчёт не берёшь. Права я, видите ли, не имею! Ещё как имею! Ну, хватит лясы точить. Хотел знать, так слушай.

Земля, в силу крайне тяжелых по сравнению с другими планетами условий существования, служит не только для исправления отбросов Вселенной. Некоторые души, по-нашему «Монады», обладают особыми качествами – неистребимой тягой к справедливости и способностью к величайшим самопожертвованиям. Их немного на земле – сейчас всего десять. Они тут не исправляются, а проходят закалку. Создавая этим монадам искусственную карму – особые, тяжёлые судьбы, им прививают иммунитет к страданиям, к физическим и душевным мукам в течение многих воплощений. Подготовка по земным меркам почти вечная – несколько тысячелетий. Для справки могу сказать – воплощение Монады Христа было решено более чем за тысячу ваших лет до его фактического рождения. Одна из таких Монад в твоём теле. В процессе подготовки, восемьдесят процентов, а может быть все сто отсеются – тогда всё будем начинать заново.

– И много таких было?

– Уточни вопрос.

– Ну, кто отсеялся, кто – нет. Назвать можешь?

– Без проблем – вот некоторые из тех, кто прошёл испытание и тебе известен: в России – патриарх Филипп, которого замучил ваш Грозный Ивашка. Друзья детства были. В Европе монахи – Ян Гус и Джордано Бруно. Их, как ты знаешь из школьного курса, сожгли. Гус имел серьёзные внутрицерковные разногласия и был просто фанатично справедлив, а Бруно много знал о настоящем положении вещей, у него было снято большинство блоков. Он имел феноменальную память и талант ясно и точно переводить высшие откровения на земной язык. Ещё одна великая Монада, прошедшая закалку, – Гипатия, математик и астроном, времен заката Римской империи, растерзанная ранними христианами. Гипатия имела ещё одно воплощение – через тысячу с лишним лет – Иоганн Кеплер.

Из тех, кто не прошёл закалку могу назвать Галилея и Достоевского – до сих пор из стороны в сторону мечутся. Первый – хоть с кем, хоть с Сатаной – лишь бы наукой заниматься. Сейчас живет в штатах. В прошлом году отошёл от дел. Скоро умрёт от рака. Не догадался еще? – Вернер фон Браун.

– Иди ты! Ну дела! А Достоевский?

– Его, пока, не пускаем. Слишком убедителен. Многих не в ту сторону обратить может.

– А что, есть другая сторона?

– Тебе мало? Ты хочешь все?

– Да, все.

– Ну что ж, как любит говорить твой дебилный Моня: «Хозяин – барин, а мертвые сраму не имут». Тебе, конечно, известна расхожая истинка: «Что вверху, то и внизу» – так вот это не истинка, а истина в последней инстанции. Всё что происходит у вас здесь – всего лишь бледное отражение того, что происходит у нас там, а у нас там – война за ваши души, которые мы, согласно карме, размещаем в физические тела.

– То есть, ты хочешь сказать...

– Совершенно верно. Я хочу сказать, что без Монад, ваши тела не жизнеспособны в принципе.

– То есть, по твоему, мы...

– Совершенно верно: био-ро-бо-ты. Вы – биороботы.

– А вы, стало быть, нет?

– Мы – нет. Мы – чистая энергия, полноценные Монады, ставшие свободными в результате такого же отбора, который сейчас проходишь ты и такие как ты. «Были когда-то и мы рысаками», так, кажется, любит говорить твой Моня?

– Мокрицкий не мой, да и не трогай ты его, Моне недолго шевелиться осталось.

- Я знаю, но что поделаешь, каждому своё.
- Могу я задать кое-какие вопросы?
- Задавай.
- Чего в тебе больше – земного, или... как вы там себя называете?
- Другого больше, хотя, кое-кто из начальства считает, что я слишком заземлилась и меня пора отзывать, но я справляюсь, опытные сотрудники в дефиците, мне трудно найти замену. Ну и хватит на сегодня. Сейчас начнётся... Луна точно над куполами... Раздевайся...

Продолжение следует.

Генриетта Ляховицкая

[25]

ПЛАЧ ВОЙНОЙ ИЗМОЖДЁННОГО ДЕТСТВА

На Пискарёвском кладбище

Я знаю голод всем моим нутром.
Он в детстве пропитал меня насквозь.
Во мне сидит он – ядовитый тромб,
как вбитый в душу старый ржавый гвоздь.

В глазах моих усталых нету слёз,
хоть я на кладбище, где нет могил
в отдельности, и нет крестов и звёзд.

Смотреть на камни без имён нет сил.
Под ними люди в ямах, всё тесней.
Все казнены, и голод – их палач.

*Стук метронома мерен и тягуч,
однообразен строй суровых плит.
Вдруг вижу: на одной из них лежит
ХЛЕБ, настоящий, порист и пахуч!*

И через пропасть отошедших дней
сквозь горла спазм пробился детства плач.

Ленинград 1992, Берлин 22 июня 2004

Чёрный дым – над морями, над молами,
над разрухою городов,
и по-над черепами голыми
от когда-то живых голов.

Пахнет порохом,
пахнет атомным,
так, что нечем уже дышать.
Полегли понапрасну солдатами
миллионы – за ратью рать...

Знать, угодно костям человеческим
гнить под мёртвою головой,
и пылает факел извечный
рядом с бочкой пороховой.

16. 02 – 01.03.2017

[27]

Д и П / 2017

Анжелла Подольская

ДУША

Сестре

Её душа зависла над Иудейской пустыней. Витая над Землёй Обетованной, она видела, как самолёты летают туда-сюда. Ей уже не нужен самолёт, чтобы долетев до Синая, снова возвратиться в Иерусалим, залететь в свой дом, присесть на комод. Дождаться, когда проснутся внуки и съедят свежую клубнику.

В последнее время, когда Душа ещё обитала в своём теле, ей снились покойники. Говорили – к долгой жизни. Не получилось. Да, и не хотелось... Душа стремилась поскорей к мужу, который оставил её десять лет назад... Но мысль: «Оторваться от детей» была ещё невыносимей. Она привыкла всегда «держать руку на пульсе»...

Когда спрашивали, нравится ли ей в Израиле, мотала головой: «Что тут может нравиться? Здесь остались те, которым не к кому и некуда возвращаться». Вспомнила, как привезли её к Мёртвому морю: «Зачем столько соли? Разве мало её в душе?»

В супермаркетах с недоверием смотрела на продукты с чужим вкусом, принималась к чужим запахам. Консерватор. Любила только то, что сопровождало в прежней жизни. Здесь не любила ничего, кроме мужа, детей, внуков: «Хвала Богу! Внуками не обидел. К сожалению, все – мальчишки. Кто-то отслужил в армии, кто-то – служит. Им тут нравится. Они – дома».

Покой у неё был, радости – не было. Каждый год она вычёркивала из записной книжки телефонные номера, теперь её номер кто-то вычеркнет из своей. Раньше нужно было крутить диск телефона, теперь нажимать на кнопки. Бесконечные: «Как дела? Как жизнь?» Сейчас она могла бы рассказать, что не так уж всё страшно. А тогда: «Ой, я тебя умоляю! Хорошая медицина? Только бы резать».

Встрепенулась Душа, полетела дальше. Туда, где когда-то был настоящий дом. Трамвайную линию заменили маршруткой. Но в доме всё по-старому. Быстро промелькнуло перед глазами прошлое. Дети, больные ушки, участковый врач, свой, только её, рецепт лечения: компресс из муки, мёда, подсолнечного масла. На ночь. За две ночи от воспаления не оставалось следа.

Конечно, напрягали бесконечные: «Достать». Теперь лучше? Всего столько, что невозможно остановиться на чём-нибудь конкретном...

Тогда... Тогда «гнездо» разрасталось, становилось тесным, «птенцы» огрызались, хлопали дверьми, уходили, но всегда возвращались.

Потом – возникшие «Свободы», враждебные лица, которых становилось всё больше. Думалось: «Что-то ещё можно изменить...» Разъезжались друзья. Потянулись дети. Разлука с ними казалась невыносимой. И они с мужем двинулись вдогонку.

Ему нравилось здесь жить, он наслаждался невыносимой жарой, этим палящим солнцем, которое убило его. Гордился выращиваемым им виноградом.

Гордился детьми: «Состоялись». Можно было сказать и так. Они стали другими, насмешливыми. Теперь всё знают лучше. Все – за одним столом. Потом стол нужно было раздвигать – рождались новые внуки. Одна за другой следовали «Брит милы», «Бар мицвы»...

Сейчас одно место за столом освободилось. Наступила тишина...

А на их улице продолжает звучать музыка, все танцуют и поют «Хаванагилу». Кто-то воздевает руки к небесам, выкрикивая что-то невнятное. И даже сюда, к облакам, доносится аромат соли Мёртвого моря, которое она так и не сумела полюбить. Аромат щекочет ей нёбо. А мимо летит самолёт. Кто-то, сидя у окна, горюет или радуется, то ли от великой скорби, то ли от великой радости.

НЕСПЕШНОЕ ЛЕТО

Интересно, если бы сегодня мы встретили себя тогдашних, узнали бы друг друга? Скорее всего, нет. Время убежало далеко-далеко и разбросало всех по миру. И город, который мы любили, и его предместья – всё стало другим. Наверное, и Горенка изменилась, а может быть, уже стала частью города. Но даже тогда, в те далёкие годы, Горенку трудно было назвать деревней, хотя она и отсутствовала на карте Киевской области. Тем не менее, она была и, надеюсь, будет.

От Красной Площади до двенадцатой линии Пуши-Водицы ходил сдвоенный красный трамвай под тем же номером – двенадцать. Из него, особенно в предвыходные дни, высыпала порция уставших,

обременённых авоськами и хозяйственными сумками горожан, жадно вдыхавших свежий, хвойный аромат. Здесь толпа рассеивалась. Одни спешили к дачам на той же двенадцатой линии, другие, через протоптанную тропу небольшого леса шли к Горенке, давно облюбованной не только дачниками.

По одну сторону раскинувшегося посредине Горенки большого озера – белый обкомовский санаторий, огороженный от простолюдинов высоким забором, по другую – местные жители и дачники.

По преданию, на месте санатория когда-то стоял дом, принадлежавший родителям Анны Ахматовой. Возможно, отсюда и происхождение её девичьей фамилии.

Каждый день по параллельным улицам к озеру проплывали процессии мам с колясками. Няни тащили за руку детишек постарше. За ними спешили пожилые, полные дамы в цветастых халатах и соломенных шляпах. Вслед за дамами – мужчины в домашних тапочках и пижамах, с неизменной газетой под мышкой. Людской поток плавно приближался к цели – мягкому, как бархат, песку, к голубой, прозрачной глади воды.

На «обкомовском» берегу – красивые шезлонги, на которых на солнышке грели свои «косточки» «слуги народа». На противоположном, где отдыхал народ, на песке – разноцветная мозаика из цветастых ковриков, протёртых подстилок, а то и просто – газет.

Некоторые из дачников предпочитали прогулки по лесу, расположенному тут же, за хозяйскими домами. В нём – вдоволь лещины и земляники. Но в жару, в смешанном лесу, от хвои дышится и вовсе тяжело и, быстро набрав литровую банку земляники, дачники спешили к воде.

В то лето, у трёх сестёр, владевших тремя домами в одном дворе, снимали комнаты представители разных национальностей: из Баку, из Еревана, из Москвы и, конечно же, из Киева. СССР в миниатюре.

Во дворе – большое вишнёвое дерево. Его ветви прогибаются под тяжестью сладких, почти чёрных, плодов. Под деревом приютилась небольшая беседка, окружённая кустами малины и красной смородины.

Ранним утром, часов в пять, когда все ещё спят, лёгкий ветерок разносит по двору смешанный аромат малины и кофе. Джан, так зовут её домашние, уже проснулась и, сварив кофе, смакует в беседке свой одинокий, любимый, напиток. Эти часы принадлежат только ей, когда можно отрешиться от домашних забот, в размышлениях предаваться мечтам, душою рваться туда... Куда? Пусть это останется за скобками... Вообще, весь этот дачный быт не по ней. Днём заботы

вытесняли тревожные мысли, но вечером, чтобы всё-таки заснуть – обязательная таблетка димедрола.

По двору важно расхаживает петух, голосистый, вальяжный красавец, на внимание которого претендуют все дворовые курицы. Его пронзительное «Ку-ка-ре-ку» вместо государственного гимна будит дачников. Двор постепенно просыпается, наполняется шумом, но этот шум естественный – много детворы. Из раскрытых окон доносятся отчетливая, чужая жизнь. Разнообразие оттенков всевозможной речи улаживает жадный до впечатлений слух Джан...

[31]

С утра взрослые – в погоне за продовольствием. Кто-то успел сходить к роднику и набрать в бидоны целебной минеральной воды. Кто-то побывал на местном, очень раннем, базарчике, где вдоволь овощей с грядок, хозяйского молока, творога и сметаны. Чуть позже, когда откроется гастроном на двенадцатой линии Пуши, кто-то устремится туда и, если повезёт, притащит целую громадную индюшку, которую «выбросят» к открытию. Значит, всех ожидает пиршество: Мамед индюшку разделает, замаринует, никому не доверив этой подготовительной работы, а после дневного отдыха, ближе к вечеру, когда спадёт жара, все обитатели двора отправятся на ближайшую опушку леса, где есть мангал. На нём Мамед и приготовит свой фирменный «шишлик», к которому специально из Баку привёз «бакынский» соус. Овеля, его жена, молодая и красивая женщина, всегда в неизменном чёрном платье, которое никогда не снимает на пляже, умудряется даже здесь, в дачных условиях, выпекать собственный хлеб. А дочери-двойняшки, Сэвиндж и Саадат, любознательные и гиперактивные, точно чертята, вырвавшиеся из табакерки, не дают ей расслабиться ни на минуту. Иногда она просит Мамеда заняться дочерьми, но тут же получает отповедь:

– Кто их родил, женщина?

Правила востока неистребимы в цивилизованном Мамеде.

По двору бежит двухлетний Женька. Он безошибочно находит нужную ему дверь, и прямо с порога требует:

– Джан, у тебя есть фишун?

Конечно, у неё всегда имеется заваренный шиповник, который она наливает малышу.

В открытую дверь тотчас заглядывает Гися, Женькина мама:

– Опять клянчишь? У нас же дома есть свой. Тебе не стыдно?

Женька отрицательно мотает головой: «Не стыдно».

– Потеряла своё сокровище? – улыбается Джан. – Оставь его в покое. Дома не так вкусно...

Из комнаты появляется Антошка, ласковый и рассудительный очкарик, похожий на маленького профессора. Он уже умеет писать, читать, и предлагает Женьке:

– Пойдём, почитаю тебе «Ивасика-Телесика».

Дети выходят во двор, к ним присоединяются Сэвиндж и Саадат, ещё Машка, дочь зубного врача Люды из Москвы.

Ни Машка, ни двойняшки, ни слова не понимают по-украински, но слушают переливчатую речь с открытыми ртами.

– Ты только посмотри на эту компанию, – в который раз поражается Гися. – Запад... Восток... Как они-то прознали про Горенку? Мы здесь впервые, а они, по-моему, в третий раз...

– О хорошем молва распространяется быстро, – соглашается Джан. – Послушай, Маруся просится с Наташей по землянику. Ты как? Я – против. Мало ли что? В лес, без взрослых...

– Согласна. И я Наташке запретила. Вздумали... В субботу сходят, когда мужики приедут.

Ереванское семейство дистанцируется от остальных. Между Рубеном и Мамедом присутствует явная напряжённость. Уже тогда, в далёком, восьмидесятом, между ними маячил Карабах. Но Рубен – муж Евы, еврейской жены, и это как-то реабилитирует его в глазах Мамеда. Тем не менее, армяне сохраняют дистанцию. Дочь Рубена и Евы, которую зовут, как и мать, Евой, одного возраста с Марусей и Наташей. Но Ева-младшая сторонится их. Она несколько высокомерна, испытывает горько-сладкое чувство непохожести и отдельности, как знак качества, как некое осознание собственной исключительности. Пребывание здесь, в русскоязычной среде, лишь обостряет и оттачивает её национальные чувства. Она не понимает, отчего родители выбрали для отдыха именно это место? Она не собирается подстраиваться под всех этих людей, не станет пытаться раствориться в общей массе. Ева идентифицирует себя, как нечто иное, как отдельную личность, ощущая себя только армянкой. Материнская кровь здесь ни при чём, почти незаметна. В Еве доминирует только армянское, и внешность, и, главное, – дух.

На пляж они не ходят. В лес – тоже. Всё своё время проводят в экскурсиях по Киеву.

После завтрака Джан, Гися и Мамед, вместе с детьми, направляются к озеру. С собой несут подстилки и фрукты. Овеля остаётся выпекать к обеду хлеб.

На пляже самых младших невозможно выгнать из воды, ну а Маруся с Наташей загорают в сторонке от мам. Им уже двенадцать и один-

надцать соответственно, и у них совсем другие интересы – мальчики.

Летнее время – чересчур лениво. Вечера подкрадываются незаметно – темень сгущается постепенно.

Гися ставит на подоконник маленький, переносной телевизор, развёрнутый экраном в сторону двора. Детвора усаживается кто на табуретках, кто на земле, в этом импровизированном кинотеатре. С экрана всех приветствует любимец юных киевлян – дед Панас, который со словами: «Любі хлопчики та дівчатка», начинает передачу: «На добраніч, діти»...

[33]

Каждую пятницу Мамед варит Хаш, – горячее «холодное». Варит целое ведро, для всего двора, потому что в выходные съезжаются из Киева работающие мужья и другие родичи. В субботу во двор выносят столы, которые на общих трапезах ломаются от изобилия. Гися выносит кисло-сладкое жаркое с черносливом. Джан налепила вареники с вишней, которые вызывают всеобщую радость. Кусок масла, брошенный в большую миску с варениками, краснеет. Он плывёт и тает на глазах. Москвичка Люда, не бог весть какая кулинарка, нажарила из магазинного фарша котлеты, от которых морщится весёлое лицо Мамеда. И, конечно же, ко всему этому великолепию – домашний хлеб и много-много вина. Всё это невозможно съесть, часть еды остаётся и на воскресенье. Остаётся и Хаш, который, по мнению Мамеда, на третий день уже несъедобен. Но ничего не пропадает. «Хорошо живёте! Такие харчи выбрасывать? Не позволю», – возмущается Аркадий, Гисин муж, и «спасает» всё: и Хаш, и остальную еду.

В выходные дни детей укладывают спать пораньше, кто-то из взрослых остаётся за дежурного. Остальные, впервые за неделю сменив халаты и пижамы на городские платья и костюмы, подкрасив губы, идут на променады к набережной. Да, да... Здесь, в Горенке, была своя набережная. Небольшой отрезок у озера, который кто-то додумался заасфальтировать.

Ближе к полуночи обитатели двора возвращаются с прогулки. Удостоверившись, что любимые чада «сп-я-я-т», кто-то сразу отправляется отдыхать, кто-то – выкурить последнюю сигаретку, ну а Джан с книгой и фонариком направляется к беседке.

Стреколет цикада. Если бы не отдалённый лай собаки где-то на краю Горенки, было бы невыразимо хорошо.

ЗАПАХ ДЕТСТВА

[34]

Д и П / 2017

То ли действительно помню, то ли воспоминания взрослых заметили некоторые участки моей памяти: кафельная печь в углу комнаты, сарай с дровами во дворе. «На дворе – трава, на траве – дрова», – тараторила я, когда мы с няней тащили целый мешок дров к нам на пятый этаж. Справедливости ради – тащила она, я – только мешала, подворачиваясь ей под ноги.

«Язык без костей», – усмехались соседи, когда я «упражнялась» в скороговорках, типа: «Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет», или «Марія лён тре, Иван тел-ля пас-се», грассируя звуками в этой, последней скороговорке и имитируя знание французского. Родители шутили: «Может быть, после школы поступишь на факультет иностранных языков?» Никаких способностей к «языкам» у меня не было, возможно, проявились бы, если бы их преподавание не сводилось лишь к сдаче «тысяч»...

Ранним утром по воскресеньям – крик старьёвщика: «Стары вещи. Скупаю стары вещи». Он въезжал с тележкой во двор, и соседи выбрасывали ненужное прямо ему на голову, не утруждая себя тем, чтобы вынести старьё во двор.

Старьёвщика сменял лудильщик: «Точу ножи и ножницы. Ножички, сеточки от ваших мясорубочек. Точу, точу, точу...»

Зло брало: «Единственный день, когда можно было выспаться, так нет же, им приспичило...»

После завтрака – во двор. Забравшись с девчонками на крышу сарая, спрыгивали на асфальт: «Кто прыгнет дальше?» Наткнулась на торчавший, неизвестно откуда взявшийся, гвоздь, распорол ногу. Кровь – ручьём... Ну, не ручьём, а мелкой струйкой – всё равно больно. Помчалась домой промыть рану спиртом, который стоял на маминой полочке – гвоздь-то ржавый. Никому не призналась. Ведь вместо сочувствия получила бы нагоняй. Кроме того, мог последовать запрет на игры во дворе. А это не входило в мои планы. Уж лучше промолчать и самостоятельно залечивать свою раницу. «И пусть», – успокаивала я боль. Моя внутренняя энергия давала тысячу вольт в сутки. Я хотела переделать весь мир.

Всегда была полненькой. Никогда у меня не было смешных ножек-палочек, наоборот, такие ножки от «маленького рояля». Впрочем, не менее смешные. Наверное, в мамины. Зато, у меня красивые глаза. Все так говорили. Стоя у зеркала, медленно снимала майку...

Поэзия и проза

Там – пугающее тело, которое всё «наливалось и наливалось», меняя свои очертания... С каждым днём – увеличивающаяся грудь, в общем – жуткий позор: «Как теперь идти на урок физкультуры?» – которую, и без того, ненавидела? И спортзал в придачу, с его сладковатым запахом пота.

Любила иногда «поболеть». Ну, в смысле, когда не очень болен, но уроки всё же можно пропустить. Меня слегка знобило, врач из медпункта разрешила уйти домой. Но почему-то, по дороге из школы захотелось мороженого, которое я непременно съела бы, но на ближайшем киоске объявление: «Учёт». «Фигня какая-то», – огорчилась я.

Дома послушно пила лекарства, полоскала горло... Высшее блаженство – поскорее остаться одной. Можно было таблетки выбросить в форточку, соду, заваренную для полоскания, вылить в фикус. И... Что «и»? Обложиться книгами, запоем читая всё подряд: «Милый друг», «Замок Броуди», «Амок»... Или включить телевизор... Хотя, что там можно было увидеть? Особенно, днём? Самое «гнилое» время на телевидении – дневное. А вечерами? Если какой-нибудь фильм, то обязательно про село, надои молока, короче – про соцсоревнование...

По пятницам в «Вечёрке» печатали программу передач телевидения на следующую неделю. Изучая её, выискивала то, что действительно было интересно. Найденное – обводила красным: «Кинопанораму» с Каплером или «Театральные встречи» из дома актёра им. Яблочкиной. На худой конец – «Голубой огонёк».

Позвонила Рита, мама старшая сестра, с малозначимым разговором:

- Почему ты дома?
- Горло болит, – я стала усиленно демонстрировать «кашель».
- Скоро подъеду, проведу. Что тебе привезти?
- Не надо. Ещё заразиться, – воспротивилась я: «Только родственников мне сейчас не хватало...»

Рита – красивая, старше мамы на два года. Внешне они – похожи. Рита – жуткая модница, весёлая и лёгкая в общении. Её шляпки, почему-то, очень действовали на мужчин, впрочем, и на воображение женщин, среди которых она всегда выделялась. Будучи «настоящей» женщиной, она никогда не сокращала дистанцию с мужчинами, не упрощала им жизнь, не была эдаким «дружбаном», постоянно нуждаясь в их поклонении. И не одного, а – всех. У неё бывали романы, даже один – курортный. О них никому не рассказывала, лишь загадочно усмехалась: «Было... Было, что вспомнить». Мы были с ней – очень «друзья» и, поучая меня, как не надо поступать в жизни, она

иногда проговаривалась о своих интрижках. А, возможно, проговаривалась специально. Кому-то ведь нужно было «излить» душу, не моей же маме, которую Рита побаивалась.

Будучи замужем за директором небольшого завода, она никогда не работала. Обожала магазины... Если у неё бывало плохое настроение (от безделья, как считала мама), Рита отправлялась побродить по магазинчикам без намерения что-либо купить. Потолкавшись среди людей, увидев их измождённые лица, она стыдилась собственной хандры. Заходила в гастроном и, купив что-нибудь дорогое и вкусенькое, тут же съедала.

Несколько лет назад они с мужем, наконец-то, «освоили» небольшой садовый участок в шесть соток на Никольской Слободке. Эти земельные «угодья» стали переломной точкой в её монотонной жизни. Она гордилась тем, что в маленьком, двухэтажном, домике – две комнаты, кухонька, крошечная веранда, которую называла «террасой». Рита перестала ездить в Ялты и Кисловодски – теперь «отдых» на собственной даче – святое. Хотя, какой это отдых? Целыми днями в весьма интригующей позе она окучивала свои грядки. Никто не хотел ей помочь: ни любимый сын, ни многочисленные племянники и племянницы, ни сёстры с братом: «Как свежую клубнику жрать, все – тут, как тут. Помочь Рите? Как же... Разбежались... Приезжаете лишь затем, чтоб в Днепре искупаться, в гамаке покачаться и до «корыта», которое Рита, конечно же, наполнит...»

На Ритиной террасе с натянутой сеткой от комаров – маленький столик с цветной клеёнкой. На столике – всегда миска, то ли с ягодами, то ли с варёной кукурузой, которая на её участке не произрастала. Я обожала кукурузу. Не дожидаясь, пока та хоть чуть-чуть остынет, обжигала губы и язык дымящимся початком, щедро сдобренным солью.

Мама – лидер. Всех могла «построить». И детей, и мужа, и сестёр... За исключением Розы, московской сестры. Та сама могла кого угодно «построить». Себя мама тоже «строила». Ей бы дивизией командовать. Уверена, справилась бы.

Но, в первую очередь мама «строила» меня. Несмотря на свою невероятную занятость, заставляла меня каждый день, включая выходные, играть на фортепиано минимум полтора часа.

В день урока – два часа. Эти занятия не доставляли мне никакого удовольствия, я хитрила, одновременно с игрой читая любимые книжки. Иногда мама контролировала, усаживаясь рядом: «О Боже, ты играешь всё хуже и хуже. Не понимаю. Я хочу, наконец-то, услышать музыку, а не брэнчанье».

В ретроспективе охотно признаю, какой дурой я была. Мне же

нужно было поскорее мчаться во двор, где меж двух столбов висели качели. Качельные ощущения от взлётов заставляли «ухать» моё сердце... Это было сродни, как будто оно «западает». Я спрыгивала, отбежала подальше, чтобы качели на скорости не сбили меня с ног и, только отдышавшись, возвращалась к ним навстречу, вновь запрыгивала, и снова: «У-у-х-х».

По двору на трёхколёсных велосипедах носились, обгоняя друг друга, Лёня и Миша, братья-близнецы в обязательных матросских костюмчиках. Они умело уклонялись от взлетающих качелей. «Ёня, Мона – лисапед», – кричали мы им вдогонку, взмывая к облакам...

Школа... Воспоминания о ней самые-самые... Любимые учителя, предметы... Кроме физкультуры, конечно. Едва на улице теплело, физрук выгонял нас во двор, заставляя бегать по кругу под музыкальное сопровождение своего баяна, который скрипел, хрипел, разве что – не кашлял. И мы бегали, приседали, разминались под звуки: «По долинам и по взгорьям/Шла дивизия вперёд...» или «В парке Чаир распускаются розы...», в зависимости от настроения физрука, то ли воинствующего, то ли лирического. Взмокшая, я не выдерживала: «Всё, чао-какао!», – и, самовольно выйдя из строя, убежала в класс.

Гулкие школьные коридоры... Где вечный шум и гам. Вопли и ку-терья. Любимая парта, на которой перочинным ножиком кто-то выцарапал моё имя, и ещё, что-то ужасное, непроизносимое...

ТАКОЙ ГОРОД

Город раскинулся по обе стороны Днепра. Левый – равнинный. Правый – горист. Сплошные подьёмы и спуски. Многие улицы так и назывались – спусками. Узкие тротуары провозжали вниз, заботливо помогая низкими, пологими ступеньками. За деревянными воротами скрывались дворы, облепленные флигелями и сарайчиками, кирпично-жёлтыми домишками, напозавшими друг на друга, с общей уборной в глубине двора и паутиной верёвок, на которых сохло убогое бельё, затвердевавшее зимой, точно каменное, летом – бывшее по лицу, словно мокрая пощёчина. Там и сям на тропинках, счастливо избежавших асфальта, мелькали ленивые кошки.

Это всё не центр. Центр был иным. Таким, как на открытках. Вечерами – шумел, сверкая своими огнями и витринами. Весной – утопая в каштанах. Зимой – в сугробах, белый и даже немножечко голубой.

Смешно вспоминать, как, проваливаясь в сугроб, хохотал из-за холодной щекотки в ноге от растаявшего в ботинке снега.

Всем хорошо знаком зимний обман, опускавшийся на город, когда за окнами темно, спать не хотелось, и не понятно, раннее ли утро, поздний ли вечер?

Сильный ветер за окнами гнул верхушки тополей, раскачивая провода. А дома можно было забраться под одеяло и, свернувшись клубочком, углубиться в рассказы О. Генри...

Или, отбросив книгу, бродить в темноте по квартире, пока где-то не раздастся собачий лай, или не появится первая звезда.

И совсем неважно, в каком именно году, потому что года этого давно нет, как нет и того города, нет тех причин и обстоятельств, побудивших через много лет встретиться с ним вновь, нет повода стоять перед сохранившимся домом и, запрокинув голову, пересчитывать окна, в которых, возможно, ещё что-то теплилось, горело, любило...

Нет причин вспоминать о былых гастрономических пристрастиях, некоторые из которых сохранились по сию пору: квашеная капуста, окропленная базарным подсолнечным маслом и присыпанная сахаром, или же, смазанный тем же маслом и густо посоленный кусочек бородинского хлеба.

Может быть, вдруг вспомнится, как с приходом весны отдирали с оконных рам бумагу, которую месяца за три до этого нарезал аккуратными полосками, покрывал заваренным собственноручно крахмальным клеем, заклеивая затем щели в этих оконных рамах. Распахнув окна и собрав мокрой тряпкой перезимовавших между рамами мух, вдруг обнаружить среди них бабочку. Мух – в мусорное ведро. Бабочку попытаться реанимировать, взяв в ладони и дыша на неё часто-часто. Взмахнув руками, заставить её взлететь. Прояви столько внимания к мухе – она бы полетела, бабочка – вряд ли.

С приходом весны что-то невыразимое закрадывалось в сердца. Начинали петь даже деревья, а тополиный пух, точно снег, устилал город. Тополя, желая вызвать ревность берёз, выводили густыми мужскими голосами: «Всюди буйно квітне черемшина...» Но берёзы... Берёзы лишь насмешливо улыбались в ответ. Они радовались, что им повезло родиться в центре города, где никому не могло бы прийти в голову просверлить в их стволе дырочку и испить самый вкусный в мире сок, отравленный выхлопными газами. За всеми этими брачными «играми» наблюдали умудрённые жизнью каштаны, раскачивая в такт «черемшине» свои свечи...

Можно было бы вспомнить и крашек лета с его отгорающими садами, тот оранжевый лоскуток, бредущий в осень. А там – и до зимы рукой подать. Как сладко прощаться навсегда, дыша прозрением и

безразличием в спину ушедшему, выдыхая и отсекая прошлое... Потянуло на пафос... Глупости. Это просто такой город... Это был такой город...

КРУГОВОРОТ

*«И рождается новый цикл...» Тантра: «Становление Бытия»
Ошо (Чандра Мохан Раджниш, индийский философ)*

[39]

Люблю май, июнь. Май – за липовый аромат, за цветущие каштаны, за предвкушение чего-то... Июнь – только до двадцать второго(!) числа, когда продолжительность дня ещё увеличивается. Потом – всё. Не интересно. Drang nach Herbst!

Это ощущение сказочного времени не покидает меня всю жизнь. В эти дни, даже по сей день, жаль оказаться не там, не с теми, жаль упустить момент, проворонить ту самую минуту, когда случается важное – летнее солнцестояние. Зазеваешься, и момент упущен. Вот и сейчас, вздрогнув, понимаю, – началось, взмывает в небо и распадается солнечными бликами середина года. Ещё одного года на зелёной планете.

Так бесконечно-сладко... Так неизъяснимо жаль...

Марина Овчарова

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Мне снилось твоё присутствие,
Неестественно яркая зелень,
Подстриженная старательно
На позапрошлой неделе.

Водой омытые ракушки
На влажном песке прохладном.
Босые голые мальчики
Бегут по росе закатной.

Твоя раскрытая сумка
Лежит на старой кушетке,
А в ней записные книжки
И вырезка из газеты.

Проснусь как будто случайно.
Запахнет спелыми вишнями.
Тонкий дымок отчаянья
Исчезает над крышами.

Брауншвейг 2002 - Берлин 2015

ПОЛЁТ НАД ГОРОДОМ

Санкт Петербургу

Я летела над городом ветреным днём.
Этот ветер трепал непослушные крыши,
Забавляясь, кидался снежками и льдом.
Я летела за ним, поднимаясь всё выше.

Подо мной неспеша обнялись облака,
А внизу сотней глаз огоньки закружились.
Разливаясь в ночи, устремилась река
К потемневшим холмам в невозвратные были.

Ветер кинулся вслед и внезапно утих,
Опустив меня в город ночной и бессонный –
Беспокойно призывный, один на двоих,
Над землёй воспаривший на тонких колоннах.

[41]

Этот город чужой не заметил меня.
Поглотил, словно озеро маленький камень.
Миг, и новый рассвет незнакомого дня
Миллионами солнц над землёй воскресает.

Берлин, ноябрь 2015.

МОСТЫ НАД НЕВОЙ

Я взгляну на тебя ненароком,
Ты пропустишь мой взгляд, не заметишь
И невысказанным упрёком
Мимоходом беззвучно ответишь.

А под нами моторные лодки
Проплывают, пугая селёдок.
И вздымаются в небо селёдки
Тонкой радугой над небосводом.

Над мостами горластые чайки
То дерутся, то яростно спорят,
Нацепив полосатые майки
И мечтая отправиться к морю.

Промелькнёт запоздалый прохожий.
Новый день незаметно подкрался.
Мы с тобою немного похожи,
Или в утренней мгле показалось.

Пахнет город морскою капустой
И солеными огурцами...

Отчего-то становится грустно,
Если пристань пустеет за нами.

Берлин, октябрь 2015

ЗОЛОТЫЕ КАПЛИ

[42]

СОЛНЦЕ разбросало золотые капли с юга,
Выжимая звуки из кристаллов
Золота и соли...

Здесь все давно живут вниз головою,
Открыв проходим настежь дверь.
Здесь тополя играют с ветром в прятки
Всю ночь, а утром прячутся от глаз,
Чтоб появиться снова для игры...

Здесь разжимается пространство...
Я всеми листьями своими опадаю,
Когда я с ними весело играю
Всю ночь, всю ночь до утренней зари.
Я с ними так давным-давно играю,

И нет конца безумной той игре.
Хрустальный дом построен на горе,
Живут в нём непослушные игрушки
И молча наблюдают за игрой.
Им снится дом неведомый другой

В краю далёком и родном,
Где шторм всю ночь бушует у порога.
На косяке дверном записка Богу
С наивной просьбой: «Береги наш дом».
Там пальмы тихо листьями шуршат

И просят пить. И терпеливо ждут,
Когда на них прольются капли с неба.
Я вижу дом, где никогда я не был,
Где ивы наклонились вдоль реки...
И молча расстаются игроки.

Берлин, май 2015

* * *

Мы идём по кривой обочине,
Пахнет скошенной травой.
По обочине одиночества
Столько лет мы идём с тобой.

За спиной сгорают галактики,
Сокращая на миг дистанцию...
Мы с тобой два космонавтика,
Оторвавшиеся от станции.

Берлин, июнь 2016

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОД

Дремлет восточный город,
Опустившись на дно тишины.
Силуэты домов и куполов
Еле видны.
Небо ночное разрезал
Крик ишака.
А над рекой далеко, далеко
Дремлют плакучие ивы.
Им снится восточный город,
Погружённый в звёздную ночь.
Силуэты домов и куполов
Уплывают прочь.

Берлин, январь 2006

ЛИЦО В ОКНЕ

И опять побегут эшелоны,
грозной тяжести не щадя,
Мимо станций мелькают вагоны,
Мёрзлый ветер срывает погоны,
А за тусклыми стёклами – я.

Я, конечно же! Кто-то случайный
Надышал, запотело стекло,

[43]

И надолго замерзшая тайна
Заковала в проёме лицо.

Эти лица чужие знакомы.
Сотней глаз бессловесных ночей
Провожают из тёмных проёмов
Безобразных своих палачей.

Не любивших, покоя не знавших,
Не жалевших ни сил, ни огня.
Так бездарно и мрачно проспавших
Восхождение нового дня.

Берлин, январь 2016

ИЕРУСАЛИМУ

Светлый город долины окутан туманом.
Миг – и солнце зальёт рафинадные стены
Его старых домов, его плоские крыши,
И на крышах – с водой белоснежные бочки.

Иерусалим, ноябрь 2014

ДЕТСТВО

По потолку проехал луч от фары.
Бесшумный звук машины за окном.
А я лежу в своей большой кровати
И слышу я – остановился поезд,
Товарный поезд, тяжело вздыхая
Поочерёдно каждым из вагонов,
Кряхтя и нехотя остановился.

Санкт-Петербург, апрель 1990

ДИАЛОГ

– Мама, куда уходит любовь?
– Никуда.
Она,
Укрывшись плащом,
Живёт в покинутых нами домах.
И катается в поездах,
Которые давно
Привезли нас
В наши мечты ...
Да.
А ещё
Она осталась в твоём папе,
Как однажды во мне
Осталась ты.

Берлин, октябрь 2014

БЕРНАУ

Тихий маленький город наполнен любовью,
Возле церкви нарциссы трепещут от ветра...
Где бы я ни была, ты ступаешь за мною,
Лёгким звоном касаясь волос незаметно.

Милый чистенький город, чужой и ненужный,
Так милы твоих башен резные бойницы.
Мимо серых домов проплывают досужно
Пожилых горожан одинаковых лица.

Разомлев от тепла, задремали вороны.
Что им снится, воронам, так долго живущим?
Пивоварни, турниры, борьба за корону
Или дальних земель виноградные кущи?

Как и я вы хотите, возможно, вороны,
Улететь далеко навсегда, безвозвратно
В ту страну, где созрели под солнцем лимоны.
Где морская волна монотонна и вмятна.

[45]

Д и П / 2017

Марина Овчарова

Где возносятся к солнцу в могучем экстазе
Кипарисов зелёные стройные плечи.
Море вспыхнет огнём ярко-синим, и сразу
Наступает стремительно-трепетный вечер...

Тихий маленький город наполнен туманом.
Лёгкий дым из трубы розовато клубится.
Из-под шиферных крыш вылетают неожиданно
Небольшие крикливые серые птицы.

Над стеной городской облака поредели,
Превратились в ряды молодых кипарисов.
Тишина и покой, только ветер шевелит
В детских шапочках желтых головки нарциссов.

Бернау, март 2016

ИЮЛЬ

Одной ногой касаясь пола,
рукой за небо я держусь.
Какого буду я помола,
когда в муку перемелюсь?
А мы лежим и ждём рассвета.
За стенкой тихий звон кастрюль.
И гроздьё солнечного света,
шутя, бросает в нас июль.

Берлин, июль 2016

ГРАНАТОВЫЙ БОКАЛ

*«Фиолетовые звуки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине»
В. Брюсов «Творчество»*

Тесто всасывалось в руки,
Превращаясь в пироги...
Сколько радости в разлуке,

Сколько боли, сколько муки,
Сколько счастья впереди!

Пирогами стол накрою
И гранатовый бокал
Я оставлю на пороге,
Чтобы ты меня узнал.

Я вернусь, и двери настезь
Распахнутся до зари.
Миг... и ты меня увидишь.
Загорятся фонари

И засветятся оконца,
И запрыгает луна.
От испанца до японца
Заколышется земля.

Миг... и ты меня узнаешь.
И гранатовый бокал
Засияет, отражаясь
В сотне, тысяче зеркал.

переливчатые звуки
в занавешенном окне,
Повторяют, что в разлуке
Столько боли, столько муки,
Сколько радости во мне.

Берлин, октябрь 2015

[47]

Д и П / 2017

Марина Овчарова

Мина Полянская

БЭЛА

*«Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!»*
Александр Блок.

*«Молодость моя! Моя чужая Моло-
дость! Мой сапожок непарный! Вос-
палённые глаза сужая, Так листок
срывают календарный».*
Марина Цветаева

А не чуден ли город, жители которого разрисовали свои дома крестами, а дома будущих жертв – нет? Вот представьте себе: каждый гражданин, высунув от усердия язык, в знойный полдень расписывает мелом или краской кресты на дверях и воротах своих цитаделей-твердынь, чтобы не перепутать их с домами предстоящих жертв. Помните? – в сказке «Али Баба и сорок разбойников» сметливая служанка увидела, что ворота крестом помечены и сообразила: «крест мелом нарисовал взрослый человек, и этот человек задумал против нас злое дело». А в моей «злой сказке» кресты меняют своё назначение, и нужно будет громить дома без крестов.

Между тем, яский крестовый поход – не сказка, а быль. И бойня началась 26 июня 1941 года. И продолжалась семь дней. И небо, превращённое в хаос, надвинувшись на древний румынский город у семи холмов, наполнило его своим смятением, река Бахлуй стонала и металась, и вечерами колеблющийся свет уставших от кровопролития фонарей раскачивал крестовые дома. И остался с тех пор город непрощённым грешником.

«Фогельфрай» (фогель – птица, фрай – свобода) – немецкое старинное слово означало, что свободен ты, как птица; однако в средние века это – «фогельфрай» приобрело зловещий смысл: им обозначал

ся человек, лишённый правовой защиты, отданный хищным птицам. Ясские евреи сделались «фогельфрай» в средневековом значении и, как птицы Хичкока, крестовые дамы, короли и шестёрки налетали на взрослых и детей, и на улицах громоздились груды тел, и немцы жаловалась на румын, не убиравших трупы, так что немецким пулям пролетать мешала гора окровавленных тел. Толпа этнографически неделимой группы «местного колорита» с лихорадочным блеском в глазах, подчиняющаяся законам массы, расталкивая солдат, врывается в дома без крестов, чтобы ограбить-убить, зная, что не будет нести ответственности за преступления, ибо сограждане-евреи были объявлены вне закона. Город ужасал неприкрытостью зла, страстным желанием убийства для удовольствия с глубоким унижением жертвы.

[49]

В конце июня Бэла отправилась в поезде к родителям по маршруту Бухарест – Яссы – Бельцы, но в Яссах поезд остановился, и для двадцатилетней девушки это была последняя остановка. Она выскользнула из поезда и, как в страшных фильмах, пряталась за вагонами, дворами, домами, садами. Однажды, измождённая от страха, голода и блужданий по чужому с трупным смрадом городу, Бэла набрела на одухотворённый светло-розовый каменный домик, смотревший на неё приветливо. Мимо проехала телега, запряжённая двумя лошадьми, слышно было ещё некоторое время удаляющееся цоканье копыт. И всё, и никакого шума городского больше не доносилось – заворачивающая стояла тишина.

Деревянная дверь, знаками-символами не помеченная, была прикрыта, скорее, приоткрыта даже, овальные дверные стёкла призывно поблёскивали, а над дверью красовалась весёлая вывеска с писаными масляными красками портретом мужчины с лицом бронзового цвета и густыми чёрными усами-коромыслами и надписью: «Frizerie» (парикмахерская). Неужели это – щель в мир живых, нормальных людей? И осмелилась – переступила порог.

Она не обманулась: там в одиночестве сидел хозяин в глубокой скорби по своему народу, совершающему злодеяние. Он был поражён трогательной красотой незнакомки с распахнутыми карими глазами на бледном исхудавшем лице, из-за которой погибнет после войны в сибирском ГУЛАГе. Румын спрятал у себя красавицу, но соседи выдали её гестапо. Гестапо состояло из румын, которые, хоть и считали себя прямыми потомками древних римлян, арийцами самой высокой пробы, но были не столь фанатичны в своей расовой идее, как немцы, в особенности, когда дело касалось денег, и парикмахер (вот кого Праведником мира надо бы назвать иерусалимскому музею Шоа Яд ва-Шем, он из-за моей тётки погиб, а я не помню его

имени!) выкупил её у арийских румын самых голубых кровей, но потом пришли русские войска, и румынские соседи донесли, что Бэла была арестована гестапо. И выпущена! Еврейка – выпущена гестапо! Шпионка! Бэлу отправили в Воркуту, стало быть, к Коле Мерзлютину, которого после многих лет тюрьмы увезли на поселение к уголовникам-убийцам в воркутинскую зону вечной мерзлоты, где ему суждено было встретить Бэлу, отбывавшую срок как немецкая шпионка. После тюрьмы, где её заставляли стоять в ледяной воде, лишив материнства, благородный Коля на поселении спасал её от уголовников. Ну, а дальше будет много ужасающих событий, потому что Бэла – жертва повторяющихся ситуаций, как в античной трагедии: её всё время кто-то выдавал – предавал, учуяв животным чутьём её незащитность, отверженность, «фогельфрайство».

Коля Мерзлютин победно въехал на танке в Берлин весь в орденах. После капитуляции Германии восьмого мая можно было и разгуляться. И пора было разгуляться! Вот нашли танкисты кнайпу – песни пели, пиво пили. Наконец-то, – домой!

Но нет! В кнайпе кончилось время танкиста. В кнайпе его дождался (четыре года, стало быть, дожидался?) – Злой Рок. Злой Рок сидел за соседним столом в облике недобитого фашиста и кричал своё «русише швайне», и наш герой, трижды горевший в танке, вчера ещё беспрепятственно уничтожавший фашистов (а сегодня уже было нельзя!) запустил в него пивной кружкой. И убил.

Арестовали Николая Мерзлютина, отвезли в воркутинскую тюрьму – не видать родной Москвы, не видать отца и матери, и даже в отепель завершить дни свои доведётся в глухой молдавской деревушке. Что до орденов, то они, оказывается, где-то хранились для героя, но не для живого, а мёртвого. Следило ли недремлющее ОКО за течением и продолжением его столь значительной для государства жизни и окончанием её, неизвестно, а как только от внезапного сердечного приступа умер престарелый дядя Коля, так тотчас же из Москвы в молдавское село значительные люди ордена привезли, и за гробом на подушечке эти ордена несли. Похороны москвича Николая Мерзлютина сделались исторической страницей села Кишкарены, его единственной легендой-эмблемой – такого пышного зрелища и собрания значительно-многозначительных лиц жители не видели никогда.

За этим же столом в берлинской пивной праздновал взятие Берлина приятель Николая (имени, увы, не помню), – который за какую-то незначительную реплику так же, как и Николай, был арестован в тот же день и пропал в небытии. Стало быть, за победным столом сидел доноситель, метлой выметавший дошедших до Берлина героев!

До войны город Бельцы располагал колоритными улочками и своей песней «А штейтеле Бэльц». Синагоги стояли на каждом шагу, были ещё мужская и женская еврейские гимназии, еврейская больница, поликлиника, и ночной приют. Торговые лавочки находились по одной стороне еврейских улиц, а по другой – дружно теснились весёлые мастерские.

В начале тридцатых мой дед по материнской линии, Ихил Лернер, – «Ихил дер Робер», так его называли из-за двухцветных усов (левый ус был светлым, а правый – чёрным), переехал из Бухареста в Бельцы и построил себе там дом, куда приходил и сам штефенштер Ребе.

Мой дед Ихил Лернер и бабушка Мина Лернер, урождённая Лозман, успели эвакуироваться, но погибли весной 1942 года при невыясненных обстоятельствах в маленьком узбекском городе Наманган и похоронены в братской могиле.

За два года до смерти Сталина тётя Бэла, оставив дядю Колю (на время!), сбежала с места поселения и отправилась в Бельцы, но там, как в песне – «враги сожгли родную хату».

Брат Хаим поселился в Бельцах с женой по имени Фейгале, что в переводе с идиш означает птичка. А птичка оказалось той ещё птичкой – из знакового фильма Хичкока. Хаим потерял свою птицу на дорогах войны и, решив, что она погибла, женился на красивой, доброй женщине, и родилась у них дочь, и все были довольны. Но однажды Хаим столкнулся на рынке со своей птицей-судьбой, она произнесла страшные слова, глядя на него одним глазом (на втором было бельмо), и он, устранившись проклятий, мгновенно покинул новую жену и дочку и вернулся к довоенной супруге.

Хаим был мастер своего дела. Заготовщик – это вам не сапожник! – руководил большой мастерской по пошиву обуви. Слава о нём дошла до Берлина. Однажды на фломаркте (блошином рынке) я наткнулась на торговца, выходца из Бельц, и спросила его, знал ли он сапожника Хаима Лернера. Торговец был оскорблён моим цеховым бескультурьем. «Хаим Лернер никогда не был сапожником. Хаим Лернер был заготовщиком!» – сказал он, глядя на меня так, что мне стало неловко.

Обаятельный Хаим, шутки которого повторяли коллеги (вот, что вчера сказал наш Хаим!) был любимцем коллектива. Он привозил мне в Черновцы сшитые им из лоскутков кожи шедевры – разноцветные туфельки (например, синие с красным и с зубчатыми язычками туфельки со шнурками), или же чёрные с блеском сапожки из мягкой кожи и весь наш двор ахал от восторга. Он со мной всё время во что-то весело играл – может, тосковал по своей брошенной девочке?

Итак, Хаим жил в Бельцах с Фейгой на тихой, задвинутой в угол

улице Свободы. Деревянные высокие ворота я помню, за ними располагались полукругом три крепких дома, выложенных из какой-то особой смеси глины и еще чего-то, и, чем больше они оседали в землю, тем крепче становились. Хаим жил слева от входных ворот в уютной квартире в сытости и довольстве.

Они обедали, когда на пороге появилась Бэла. Семья была слышана о воркутинской заключённой, и реакция Фейги была мгновенной, как будто она готовилась к появлению Бэлы. «Ах, ты сука, ах ты шпионка немецкая, убирайся отсюда!» – и крик её настороженным эхом разносился в гулком пространстве притихшего двора. А Хаим молчал, сжавшись на стуле, не проронил ни слова. Он, стало быть, выгнал своим молчанием младшую сестричку на улицу. Слава Богу, это было летнее время года и надеюсь, что Бэла, прежде, чем направиться к нам, в Черновцы, нашла временное пристанище.

Между тем, Фейга, которая в моём присутствии – дети ничего не понимают! – постоянно ругала братьев и сестёр Хаима, заботливо купала меня в ванночке, когда меня привозили в гости, пекла любимое печенье, собирала в большой кастрюле абрикосовые косточки, которые я во дворе терпеливо раскалывала камнем, извлекая ядра – чистый изумруд. Слаб человек, слаб дядя Хаим, который не мог Фейге возражать, погрузившись в атмосферу её вечного скандала, и слаба Фейга в своём вечном гневном Ксантиппы и вечном страхе, что у неё такого замечательного Хаима отнимут, как уже однажды отняли война и другая женщина. А к тому же, и она успела заразиться сталинизмом, синдромом, от которого не избавиться, как ты не лечись, никакие припарки, эликсиры и прочие снадобья – не помогают.

Не выдержав фейгиного диктата, Хаим умер в возрасте пятидесяти шести лет от сердечного приступа. А она ему красивый памятник на могиле установила с чугунной узорной оградкой и приветливой калиткой – можно зайти, посидеть, подумать о смысле жизни. Лучшего памятника нет на всём еврейском кладбище!

С чего начинается родина? С погрома у нас во дворе. Я родилась в сожжённой немецкими оккупантами молдавской деревне Рышканы, куда родители после войны приехали из эвакуации. В этой деревне, уже после победы (!), молдаване убили моего деда Янкеля Полянского. Убийц не нашли, и в документе о смерти Янкеля Полянского записано: «умер неестественным образом».

И почему Полянские прилепились в царские времена к этой деревне? Ах, да! Из-за черты оседлости пришлось осесть. И прежде, чем я сейчас покину Рышканы, впечатанные намертво в мою метрику (я никогда на погромную родину не заглянула), сообщу интересный

факт. Мать бывшего немецкого президента Хорста Кёллера, который в мае 2010 года добровольно отказался от президентского кресла – (единственный случай за всю историю Германии), – родилась в Рышканах в 1904 году, а мой отец – в 1908.

В двух километрах от «наших» Рышкан, у дачи Бирмана, богатого, почтенного человека, процветали немецкие Рышканы. Вдруг возникла чёрная тень гетто. Черта оседлости создала два параллельных мира, которые никогда не могли пересечься. Иной раз не преодолеть и маленького пространства, хотя полагают, что мир тесен. И в нескончаемом кружении блуждаешь на крохотном куске земли, поскольку дальше идти не положено.

И все же, может, она, немецкая мама Кёллера, видела моего папу? Может быть, на перекрёстке дорог, возле дачи Бирмана, на нейтральной полосе, немецкая десятилетняя девочка однажды столкнулась с мальчишкой из черты оседлости в большой смешной кепке – моим шестилетним папой и посмотрела на него удивлённо и подумала: какие же они забавные, большеглазые черноглазые мальчишки в других Рышканах, столь не похожих на их собственные ухоженные Рышканы – с добротными, аккуратными, одноэтажными домиками, с непременно приусадебными участками, курятниками, коровниками и обязательными свинарниками.

Было страшно оставаться в деревне, где убили моего дедушку, и месячным ребёнком увезли меня в живописный прикарпатский город Черновцы, поскольку пронёсся слух, что в поспешно брошенном нацистами городе пустуют роскошные квартиры. В бывшем австро-венгерском городе обитали ещё оставшиеся чудом в живых «австро-венгерские» евреи, говорившие на немецком, с которыми наши «бессарабско-румынские» не «соприкасались», так же, как в нынешней Германии евреи из стран Восточной Европы лишены контактов с теми, кто именует себя немецкими евреями. Напротив нас жил местный еврей-профессор, на которого я взирала с почтением, когда он в своём чёрном беретике подходил к дому, а затем исчезал за таинственными тяжёлыми, чугунными, узорными воротами. Никто из «наших» евреев с ним заговаривать не решался.

Мы почти опоздали: нам досталась квартира не в центре с соответствующими удобствами, а ближе к окраине по адресу Шевченко 88, без удобств, но с красивым краном на кухне, с округлой в орнаментах чугунной раковиной. Крышу нашего дома украшал весёлый дымоход – в углу кухни, ближе к двери стояла пузатая печь, и мама пекла в ней круглые белые хлеба. И все соседи растапливали свои печи, и над сказочными домами поднимались ввысь тонкие струи дыма. Дымоход, печь

и кран создавали ощущение незыблемости существования и сделались символами домашнего очага. А нынче? Осмелюсь перефразировать Фёдора Глинку: «Не слышно шума дворового, над крышей дома тишина, над бутафорским дымоходом висит полночная луна».

Ещё помню призрачный, в светлой дымке, маленький сад с причудливо изогнутыми деревьями с раскидистыми узорными ветвями; на некоторых деревьях висели зелёные, не созревшие маленькие яблоки – их легко можно было достать, а на других, высоких, длинноствольных – призывные, но недосыгаемые ярко-красные, налитые, нарядные черешенки.

Тётя Бэла внезапно появилась в дверях очень яркая, наверное, потому, что в ушах были красные, как черешенки в нашем саду, клипсы, от которых я, пятилетка, не могла оторвать восхищённых глаз. Было очень шумно, обнимались, плакали, а мой папа бегал вокруг и приговаривал, что он ВСЁ сделает. (Это означало, что папа за взятку кое-кому пропишет к нам тётю Бэлу). Но кто-то из соседей... Опять соседи! Да что же это такое, братцы?

Соседи (дверь напротив нашей двери, бывшие полицаи) выдали мою тётю Бэлу. Они потом – уже после доноса на моего папу – исчезли. Засветились ли органам НКВД в пору своих доносов, или некто донёс на доносителей? Сталинский молах репрессий варил в одном котле и полицаев, и людей, оказавшихся под оккупантами, и жертв Катастрофы.

Однажды двое сердитых мужчин во всём сером пришли, когда мы с тётей Бэлой были вдвоём в квартире. Они велели мне сидеть на стуле и не двигаться. Так сурово со мной никто никогда не разговаривал. Я сидела на стуле между кухней и комнатой. Эти серые приступили к своему обыску, а тётя Бэла стояла в проёме двери и говорила: «Ну, хорошо, я виновата, что приехала без разрешения. Но эти люди ни в чём не виноваты. Зачем вы их обыскиваете?»

Серые личности вдруг прекратили обыск и сказали: «Чтобы через 24 часа вас здесь не было!» Уехала тетя Бэла – на своё холодное поселение под Воркутой. Кстати, я единственный свидетель этой сцены, задаю себе вопрос: рассказала ли я родителям о том, как тётя Бэла защищала их от энкэвэdistов? Вот – не помню я почему-то этого. Запоздалое свидетельство записываю, ибо, как сказано древними, слова улетают, а то, что записано – остаётся.

И сказал поэт: «Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира. На пороге стоит – Судьба». И в самом деле, словно чья-то дирижёрская палочка заправляла действием. Что же сделать для того, чтобы связи неблагоприятного сюжета не успели ещё окрепнуть? Как обмануть судьбу? Не смею думать, что жизнью правит злой случай,

поскольку она тогда теряет нравственную ценность.

Впоследствии, когда от сердечного приступа умер в молдавской деревне дядя Коля, и тётя Бэла осталась одна, её опять выгнали на улицу – в молдавском городе Оргееве. Эту историю я рассказать не имею права, и здесь, стало быть, остаётся многоточие. В Берлине мне рассказали, что тётю Бэлу подобрали люди, которые за небольшую плату сдавали ей комнату, но вели себя с ней «праведники» так же бесцеремонно, как и многие другие по духу своему люди провинции, поскольку знали, что она была в заключении. Бэла, по-прежнему, была красива, глаза её (так мне рассказали), светились особым блеском, она любила яичницу с колбасой, курила папиросы, отличалась редкостным чувством юмора, была всегда гостеприимна и доброжелательна и ни на кого не обижалась. А когда уехала в Израиль, приглашала в гости своих убудочных обидчиков. Как же я прозевала последние годы её жизни, почему не пришла на помощь? А у меня в годы её последней бездомности уже давно не было в России родственников, уехавших в Израиль в начале семидесятых, и в Петербурге я вспоминала о ней, предполагая, что она давно в Израиле.

На моей, на моей совести унижения, которым подвергалась эта благородная женщина, моя тётя Бэла.

Однажды, тётя Бэла мне, школьнице, сделала такое признание: «Мина, я никогда никому не скажу больше ни слова о яском погроме. Мне никто не верит, что был такой погром, считают обманщицей или сумасшедшей».

Прошло столетия и выяснилось, что именно яский погром, замалчиваемый и в России, и в Молдавии, и в Румынии – одно из отличительных злодеяний Второй мировой, поскольку не только полиции, солдатам и спецслужбам, а всем горожанам дано было право повсюду – на площадях, улицах-переулках, чужих дворах и домах, вершить самосуд, и было сказано: «Вы можете убивать безнаказанно, убивайте своих друзей и соседей, вам за это ничего не будет».

Несколько лет тому назад, случайно, в Берлине, я вдруг включила днём телевизор (обычно я этого не делаю), и услышала траурное пение кантора. Прозвучало слово «Яссы». Кантор пел у обелиска, открытого к семидесятилетию яского погрома, и мгновенно я вспомнила слова Бэлы: «Никто мне не верит!». Преследуют меня эти слова, превращаясь в написанные огненными буквами строки послания. Я обращалась в музей Шоа Яд ва-Шем с просьбой увековечить память моей тётки, но мне ответили, что коль скоро она во время этой семидневной бойни осталась жива и мирно умерла в Израиле, то «увековечиванию» в музее Яд ва-Шем не подлежит.

А на экране телевизора я увидела скромный обелиск, у которого сиротливо ютилась небольшая группа стариков – выжившие жертвы. Но тётя Бэла, всю жизнь скитавшаяся по чужим пространствам и временам, нашла своё последнее прибежище тридцать лет назад на кладбище Бер Шевы.

[56]

А могла ли она официально участвовать в церемонии, она – НЕ-жительница Ясс, транзитная пассажирка, выжившая ещё и потому, что не было у неё в Яссах дома эх, эх, без креста, залётная птичка «фогельфрай»?

Д и П / 2017

Всё пытаюсь представить финал ясской бойни, завершившейся второго июля сорок первого года, когда рука врагов колоть устала – лучше классика не скажешь. Ну, что же? Наступила ночь, а затем утро и... Нет, не запели утром петухи, эти скромные вечные труженики, отгоняющие прочь всякую накопившуюся за ночь нечисть. И ветки деревьев, испытавшие свой смертный час, дрожали. Огромные внимательные птицы, сидевшие на ветках, смотрели в окна людей, совершивших всем национальным коллективом злодеяние.

ЗАГАДОЧНЫЙ СОН

Я родился, объятый загадочным сном,
на закате осеннего дня.

Я не знал, что меня ожидает потом,
и каким наградят меня годы бытѐм,
в чьи капканы затащат меня.

Так случилось, –
ведь я не просился на свет,
а дорога назад заперта.
И теперь не найти мне затерянный след
в тот загадочный сон – много минуло лет,
и надежда ушла навсегда.

Что уже вспоминать?
Как круги на воде,
расплывается времени ось.
Я привык ко всему: к тишине, к чехарде,
как в загадочном сне, –
к лести, к дружбе, к вражде...
Жизнь, право, забавный курьёз.

ПРОДЕЛКИ ВРЕМЕНИ

Время вьюжит нас и носит,
как бродячий, жѐлтый лист,
вздѐрнет вверх, покатит вниз
через зиму, лето, осень,
отвергая компромисс.

И не требует ответа,
то вскипая, как вулкан,
то застыв, как истукан,
через осень, зиму, лето,
окунает нас в обман.

То спешит, как одержимый, –
чувства выставив на кон:
слёзы, хохот, нервы, сон,
через лето, осень, зиму,
показав аттракцион.

То, прикидываясь раем,
не нахвалится собой,
то, ослабив свой конвой,
щедро угощает маем,
и предательской весной.

После, всем покажет пятки,
устремясь во весь опор,
как пройдоха, бузотёр,
воровато, без оглядки,
мчится вниз, лавиной с гор.

БАЛЛАДА ЗВУКОВ

Вокализы дробь бойка
с каблучка и с каблука.
Вот, ритмичный к ним пролог
топ-топ-топ и цок-цок-цок.
Поступь острого клинка
у большого каблука –
шаг широкий ритму в такт.
Рядом скачет, сбившись с ног,
нервный, точный, как рычаг,
задыхаясь, каблучок.
Наконец, сошлись в комок,
топ-топ-топ и цок-цок-цок.

Звуки стонут, на измор,
то мольба в них, то укор.
Хоть вниманье напряги, –

еле капают шаги.
Прекратили диалог
топ-топ-топ и цок-цок-цок.
Наступила тишина, –
улица в объятых сна.

ПОРТРЕТ ГЛАЗ

[59]

Глаза твои, напрочь, раздеты,
не скрыто в них откровенье,
коллекция массы сюжетов, –
покорность и повеленье,

талантливость, мудрость и вера,
и таинство намеренья,
слились в желанье без меры,
с интригой воображенья.

Вопрос и ответ без подсказки
направлены на решенье,
и мысль без вуали, без маски,
подчинена вдохновенью.

Лишь только опустишь ресницы
на вздох, на одно мгновенье,
мечтая всерьёз подчиниться,
минуте самозабвенья.

Раздетых глаз панорама
свободна от заблужденья,
сверкает, как амальгама,
со вспышкой предвкушенья.

ИРОНИЗМЫ

Ах, как я смеюсь,
порой, над собою.
От этого грусть
полушки не стоит.
Я, с радостью, – вспять,
спешу за собою.

Судьбу забавлять
отрадно, – не скрою.
Прошу, чтобы сон
снял тяжести путы.
До боли влюблён
я в эти минуты.
Гляжусь, в зеркала,
от жизни обмылком.
Нет, это не крах, –
кривая ухмылка.
Вот, так и живу
с мечтою о рае...
Пусть не наяву,
но, всё же, мечтаю.

РЕМБРАНДТ

Портреты современников-евреев
Рембрандта кисти.
Многовековой мыслью ярко веет
из взглядов чистых.

В них смешаны страданье и лукавость,
вопрос с ответом.
В них древнего народа величавость
тактично спета.

Рембрандт Ван Рейн, – он светотени Мастер,
плоть вдохновенья.
В нём сочетались творческие страсти
и точность зренья.

Оставил он в веках, музеям мира –
евреев лики.
Пророков, и раввинов, и банкиров –
их сплав великий.

ПИЭРИЯ

В Македонии есть область – Пиэрия,
вроде, Музы родились там в старину, –
вероятно, помогала им стихия, –
и поэтому живут в её плену.

Я легендой Гесиода очарован,
стал источник Ипокрены близок мне,
и в моих ушах то хохот Муз, то говор,
то их шёпот расплескался в тишине.

Я с тех пор живу под знаком Пиэрии,
и воистину горжусь своей судьбой,
часто мучает по Музам ностальгия,
но не жажду я истории иной.

* * *

Г.Л.

Сочинить сто тысяч строчек, –
это, в принципе, несложно.
Взять Поэзии крючочек,
подцепить их осторожно,
все расставить по порядку –
в этом нет большой отваги.
Сделать для мозгов зарядку,
и оставить на бумаге.

Удивиться, рассмеяться, –
право, вот какая прихоть.
Никаких галлюцинаций,
согласиться с этим тихо.
Напрягаясь, но не очень,
лишь всего до сыпи кожной.
Сочинить сто тысяч строчек –
это, в принципе, несложно.

[61]

СЕРОЕ БЕЗРАЗЛИЧЬЕ

Утоплены надежды в серый ворот,
но мысли погасить не хватит сил.
В тумана саван облачился город,
лишь серый дождь дыханье оживил

[62]

Ты лужу обогнул, и там, невольно,
свой серый облик обнаружил в ней.
И стало за себя смешно и больно,
ты в луже – серый монумент камней.

Сереет даль, – и нет прохожим дела
до старика. У каждого свой путь.
Но серость окруженья надоела,
куда от серости бы повернуть?

Направо ли, налево, – безразлично,
царит повсюду серая тоска.
Куда нырнуло прежнее величье?
наверно, в серый мир воротника.

ЗАЧЕМ?

Зачем, ответьте мне, зачем
над жизнью потешаться всеу,
жонглировать обильем тем,
которые судьба дарует

И начинается гамбит
с позиции невероятной.
Свинцовым грифелем скрипит
по полотну души и нервам.

Не пожелав вступать в тандем,
идёт впрямую, не плутуя.
Зачем, скажите мне, зачем
над жизнью потешаться всеу?

Из этого не выйдет толк,
и растворившись, напоследок

искал мишень я в гуще толп,
но не нашёл, – я был не меток.

Затем, отвечу вам, затем
над жизнью потешался всуе –
узнать, что остаюсь ни с чем.
Пусть пустота с судьбой флиртует.

[63]

РОНДЕЛЬ

Хоть плотно сомкнуты уста,
но взгляд на острие упрёка,
и вязь немого диалога,
на неприязнь излита.

Наотмашь, как удар хлыста,
щеку пересекает локон,
хоть плотно сомкнуты уста,
но взгляд на острие упрёка.

Мне ясно, – это неспроста,
ведь ты уязвлена глубоко,
не хочешь уронить полслога,
зачем же реплик суета,
коль плотно сомкнуты уста.

ВЕЧЕРНИЙ БЫТ В СТИХАХ

Вечер в комнату привнёс
приступ бархатной сирени.
И пьянит, до сладкой лени,
аромат от папирос.

В голове застрял мотив,
и никак не отвязаться
от задорных интонаций,
до того он шаловлив.

Мне навязана тетрадь
с неприличными стихами

о любви несчастной к даме, –
я их вынужден читать.

Я зеваю, но не сплю, –
я дневным подавлен зноем,
почему не успокоен? –
потому что мысль леплю.

Как заснуть мне, Боже мой?
За бессонницу – досада.
Что ещё для скуки надо? –
Храп со свистом за стеной.

СТРАСТИ ПО ВЕСНЕ

Весна явилась исподволь,
и с шалостью неистойвой,
мазками сплошь нечистыми, –
не упустив ничто?
На пике возбуждения,
природе дав цветение,
придумав развлечение,
как в цирке шапито.

Уж, если рассупонится,
летит лихою конницей,
устроит всем бессонницу,
как пьяная сирень.
И станут откровением
её хитросплетения,
любовные влечения –
весенние трень-брень.

Кто с нею поякшается,
душой в ней растворяется,
за миг её цепляется,
забудет про покой.
И требует бесспорного,
мгновенного, задорного,
желания игорного, –
и это всё весной.

МАРТОВСКИЕ СТРОЧКИ

Сверчок скрипел на нервах тишины.
Ночь шёпотом задёргивала шторы.
Но скука из туманной пелены
судьбу держала, накрепко, за ворот.

Сверчком исчерпан весь репертуар.
Яснее стала свара листьев с ветром.
Тень разлилась на сотни километров,
и свистопляску вновь затеял март.

Растаял день. С ним прерван диалог,
его, как выяснилось, было мало, –
всего-то не хватило пары строк,
чтоб дотянуть сюжета до финала.

В обнимку с тишиной домой бреду,
чтоб тяжесть дня стряхнуть
в преддверье ночи,
чтоб день был под завязку обесточен,
готовлю сновиденье на ходу.

МИНУТНАЯ КОМЕДЬ

Минуте захотелось устроить перерыв,
чтоб подарить мгновенью уверенно, мотив.
Ей в этом обещает поддержку циферблат –
перемещает стрелки на целый миг назад.

Минута благодарно в пространство ворвалась,
почувствовав свободу, приняв её за власть.
И мысли возбудила, направив их в мечту,
работу завершила – свалилась в пустоту.

За упокой минуты, жизнь поплыла тиха,
и всем понятно стало: минута – чепуха.
Коварная минута – улыбка, напрокат,
случайно возникает, но всем несёт разлад.

[65]

Восстановилось время. Ритмично циферблат
вальсирует по кругу, приковывая взгляд.
Прохожие довольны, но не желают впредь,
испытывать минуты подобную комедь.

* * *

На авансцене два обычных стула,
на них герои: Жизнь и Судьба.
Вокруг покой, – ни шёпота, ни гула, –
наморщены задумчивых два лба.

Безмолвный диалог их длится вечность:.
кто главный, кто всегда необходим?
Друг другу не решаются перечить,
за каждый шаг мы их благодарим.

* * *

Дождь щекочет тротуары.
Дождь ласкает мостовые.
Пролетает по бульварам.
Вызывает аллергию.

Кто с ним сможет побороться?
Кто его посмеет сдюжить?
Всё равно он будет литься.
Улыбаться каждой луже.

Он хвастлив, всегда нервозен.
В состоянье вечной пляски.
Он влюблён в весну и осень.
Сеет слухи, любит дразги.

Хоть и выглядит фигляром,
Но пролиться может ливнем:
Помнит он о тротуарах,
Не забыв про мостовые.

Ночь к утру плыла глотками, вздрагивая от порывов Ветра. Он издевательски напоминал о себе протяжным свистом, кочуя по аллее, от скамьи к скамье, – проверял, не забыл ли кто о своём постоянном ночлеге. Он рассказывал деревьям небылицы о своих путешествиях в страны, где побывал, о горах, где приходилось задерживаться, о водоёмах, из которых изгонял купающихся, возбуждая волны. Он жил ветреной и безрассудной жизнью, упорством разрушая всякую преграду. Ему мог бы позавидовать даже заядлый упрямец. Его амбиции были неоспоримы и безграничны. Ведь он бессмертен.

Утро несколько успокоило его. Раннее солнце попыталось лучами пробить пелену Ветра, снизить его скорость, но лишь разозлило, подчеркнув его непобедимость. Не добившись успеха и тяжело дыша, солнце ушло за тучу. Празднуя победу, Ветер разохотился пуще прежнего, его полёт стал мстительней, задиристей. Он пел: «То-то же, то-то же. Всё смету я по пути». Ветер был тружеником, отстаивая лидерство в вечном полёте.

Единственное, что поражало и возмущало, – поиски людьми защиты от него. Шарфы обматывали горло, добираясь сзади до макушек, головные уборы опускались до бровей, одежда застёгивалась на пуговицы или замки-молнии, рты плотно сжимались, подчёркивая узкую линию сомкнутых губ.

«Боятся, трусят», – удовлетворённо констатировал Ветер.

Городской транспорт отказывал ему в послушании. Там возникали торопливые диалоги, шёпот переходил в восклицания, в игривые шутки, в смех. Трамвайные вагоны были переполнены. Помня о Ветре, люди, прижавшись друг к другу, творили мизансцены. В углу, лицом к лицу, – Он и Она, – незнакомые молодые люди.

– Простите, я создаю вам неудобства, – выдохнул Он.

– Пустяки, можно потерпеть, – согласилась Она.

– Благодарю...

И вновь пауза, утонувшая в общем гаме.

За окнами, – толпа, рвущаяся к трамваю, чтобы спастись от Ветра. Никто не выходит. И только смельчакам удаётся втиснуться. Он и

Она – ещё плотней друг к другу. Единое дыхание. Глаза в глаза...

– Вы – Павел, – растягивая его имя почти в строку, шепчет Она.

– Да, – не удивляется Он её осведомлённости.

Мысли о Ветре возвращают в реальность. И вдруг: «Stillplatz», – громким голосом водитель перекрывает шум Ветра за окнами.

– Нам выходить, – констатирует Она.

Он молча кивает. На лице ни тени удивления. Жилой массив – напротив. В объёмах Ветра беззвучно идут рядом, направляясь к дому. Вызывают лифт. Пятый этаж. Выходят. Его дверь – слева. Её – справа. Щёлканье ключей.

– Соседи, – мелькнула у него догадка.

Ночь отказала во сне. За окном тот же настойчивый визг Ветра. Утром, приняв душ, Он вышел на лестничную площадку, позвонил в дверь напротив.

– Павел? – уверенный голос за дверью.

Не успел ответить.

– Кофе на столе, ждёт.

– Как вас зовут? – вместо обычного «с добрым утром».

– Наконец-то, – глазами улыбнулась Она, – спасибо Ветру, подарившему нам знакомство.

ПРУССКАЯ СОЛЯНКА

Мой День Рождения выдался дождливым как никогда. Целые потоки воды обрушились на Берлин, как где-нибудь в Венесуэле в период дождей. Но настоящего урагана, какой был в эти дни в Западной Германии и Франции, не получилось. Через десять минут езды по автобану дождь прекратился и приятные серебристые облака пропустили слабые солнечные лучи. Как раз такую погоду я больше всего люблю. Мы остановили машину на лесной дороге возле уютной полянки, запах цветов позднего мая смешался с запахом травы и сопровождался пением весенних птиц. Просто праздничный концерт. Я нарвала небольшой букетик разноцветных полевых цветов: желтых, голубых, сиреневых колокольчиков. Дома поставлю их в чашку с надписью «Happy Birthday». Других цветов не намечалось, так как Джордж срезные цветы не любит.

Мы съели наши бутерброды, запив их лёгким вином, и в самом лучшем настроении, смеясь и перебрасываясь шутками, поехали дальше в направлении Лютерштадта – Виттенберг. Там мы решили погулять и отметить мой День Рождения.

Поставив машину на стоянку для туристов, мы отправились гулять. Направо был чудесный холмистый пейзаж – парк с зоопарком, налево – уютный ухоженный город, рассчитанный на приток туристов. У центрального туристического бюро толпились активные китайцы. Несколько пожилых пар, как и мы прибывших просто погулять, озирались по сторонам. Рядом с парковкой я увидела привлекательный павильон – кафе-мороженое, а за ним маленькую пивную. На доске с оповещением о предлагаемых блюдах красовалось крупно: «солянка 3.90». Эта призывная надпись вызвала у меня волчий аппетит. «Ты не хочешь солянку?» – робко спросила я Джорджа, заранее зная ответ. «Ты знаешь, я не ем русскую еду» – ответил он нервно. Тем не менее, недавно в одной семье, куда мы были приглашены на Шаббат, он с

удовольствием солянку съел, да еще похваливал. Моя русская приятельница, принявшая иудаизм, и правда, готовила её превосходно.

– Пойдём на рынок, – предложил Джордж. Он не признаёт прогулки, если у них нет цели что-нибудь купить или заработать денег. Я же, напротив, люблю без цели слоняться по улицам и любоваться новыми местами. На рынке в центре городка было оживлённо – там продавали рыбу всех видов: солёную, копчёную, жареную. Джордж рыбу не ест и запах её не выносит. Но в честь Дня Рождения он предложил мне полакомиться рыбкой. Я её очень люблю. Маринованная сельдька, на которую я решилась, оказалась страшно острой и несъедобной.

– Я съем её дома с картошкой, – пообещала я, чтобы не расстраивать благородного Джорджа. Мы вышли на центральную площадь, где высилась могучая фигура Мартина Лютера, около которой беспрерывно фотографировались китайцы.

Я посмотрела на Джорджа. Как всегда, в ослепительно белой рубашке, кипе, загорелый, с правильным носом и большими синими глазами, он был красив. Не то итальянец, не то француз, а по характеру немец (да еще и еврей, как сказала моя дочка). Я же показалась себе какой-то растрёпанной и смешной. Тем не менее, мы решили сделать фотку на память, всё-таки День Рождения для каждого русского человека важный праздник. Джордж над этим смеётся. Он присмотрел симпатичную пару с интеллигентными лицами. Милая дама нацелилась на Мартина Лютера.

– Я не фотографируюсь с памятниками, – сказал Джордж.

– Тем более с этим антисемитом, – подхватила я. Дама сняла нас на фоне старых домов в стиле ренессанс, окружавших площадь. Оказалось, Виттенберг был в 15-16 веках важным городом, на домах красовались многочисленные белые мемориальные доски с именами и заслугами живших здесь людей. Учёные, богословы, еврей-врачи, художники. Я нашла дворик Лукаса Кранаха, восстановленный фахверк и скульптура сидящего за мальбертом художника. При коммунистах это был невзрачный центр немецко-советской дружбы.

Вдоль уютных улиц текли ручейки, окружённые цветами, погода была прекрасная, звери в парке довольно дружелюбные, хотя лев с нами фотографироваться не захотел.

Понемногу всё больше хотелось есть.

– Пойдем, пообедаем, – сказал Джордж.

– Нет, я хочу только солянку, – капризно воскликнула я.

– Ну, что ж, ешь солянку, а я съем что-нибудь в имбиссе, – расстроено пробормотал он. Мы подошли к пивной, и я в одиночестве уселась за столик на улице; со двора доносились жизнерадостные крики любителей пива.

Широко улыбаясь, ко мне быстро подошел небольшой лысый мужчина, оказавшийся владельцем пивной.

– Я хочу солянку! – сказала я, наступила небольшая пауза, – что-то тут было не так.

– Она не слишком острая и жирная? – спросила я неуверенно.

– Нежирная точно, – ответил кельнер улыбаясь. Через несколько минут он появился с подносом, на котором стояла большая тарелка с супом и нарезанный белый хлеб. Суп представлял собой разведённую томатную пасту, с кусками перца и редкими следами сосиски; шариков чёрного перца я насчитала сорок штук. Я взяла ложку – есть это было невозможно, во рту начинался пожар. Я попробовала вылавливать сосиску, но это было бесполезно. Тут подошел Джордж.

– Посмотри, что это, это ведь никакая не солянка. – Он, пытаясь меня взбудить, съел ложек десять этого странного супа.

– Я пойду к машине, ты подходи – сказал он, заметив, что я хочу устроить скандал.

Из пивной выскочил весёлый владелец:

– Ну, как солянка? – спросил он.

– Это не солянка! – мрачно сказала я, протягивая деньги.

– Нет, солянка, солянка! – воскликнул живчик. – Это рецепт моей бабушки из Бреслау!

– Ой, моя фамилия как раз Бреслау! Значит, это солянка из города моих предков! – обрадовалась я, сразу перестав злиться. Мы пожали друг другу руки, и Мартин вручил мне свою визитную карточку.

– Только напишите в следующий раз: «Прусская солянка», а то вас могут неправильно понять, – посоветовала я.

Мы сели в машину и поехали по чудесной лесной дороге, говорят, построенной еще во времена Третьего рейха. Деревья сплетались кронами, птицы пели. Вдруг Джордж резко свернул в сторону и остановился. Он побежал к кустам, где осталась вся съеденная солянка.

А дома мы зажарили курицу в духовке, поставили в чашку полевые цветы, налили красного вина и отпраздновали мой День Рождения ещё раз.

ВОРОНА

Запах воды, смешанный с запахом бензина.
Это начинается сезон белых пароходов,
неторопливо плывущих по Шпрее.

Ворона тащит из мусорки пластиковую
коробку, разбивает клювом и достает еду.
Животные умнее, чем мы думаем о них.

Свежая зелень отражается в быстрой воде.
Солнце укрывается белым облаком.
Жёлтые кусты неудержимо радуются весне.

САТИРЫ

Привет, игривые Сатиры!
Я вас, ей Богу, не боюсь,
хоть вы с улыбкою коварной
порой мне преграждали путь.

ХЕЛЬСИНКИ, 2015

Город, со всех сторон
Окружённый морем.
Над водой повисли
Серые тучи.
На двуглавом Орле
Примостилась
большая чайка.
Она вспоминает
Императора
Александра Второго.
Его ей жаль.
Удивительно тихо
И только привольно
Гуляет ветер.
Может, это самое
Тихое место на свете...

КЛЕЗМЕР

Музыка еврейских местечек –
Музыканты приходят под вечер.
Начинает кларнет, вступает аккордеон.
Старая скрипка. Кто-то ритм отбивает.
Нет ни нот, ни дирижёра,
А музыка есть и струится.

[73]

Вот и публика собралась понемногу
в чёрных шляпах и белых рубашках.
Приходят евреи, застенчиво садятся.
Мамаши в смешных париках и
Чёрных платках подбирают подола
Длинных платьев. Кругом непролазная
Грязь – асфальт будет через столетье.
Девицы сидят, потупясь,
Мужчины танцуют в кругу,
На девушек взгляды бросаю.

Сто лет промелькнули, как сон,
Порой очень страшный.
Людей этих нет уж давно,
Но клезмер играют повсюду:
В кафе, во дворе, на площади,
На ступеньках Бодэ музея.
Играют самозабвенно.
Поют, хлопают дружно в ладоши.
Но вот что случилось за сто лет –
Играют совсем не евреи,
На идише песни поют
Молодые немцы,
Голландцы и шведы,
Не помня о том, куда
Подевались все те,
Что музыкой этой владели.
Они ведь оставили след –
На идише песни поются.
И музыка эта звучит,
И в ней оживают
Еврейские души.

РОШ ХАШАНА

Еврейский Новый Год
С привкусом спелых яблок,
Обмакнутых в мёд.
Рыбная голова
Грустно лежит на столе –
Не разделяет веселья евреев.
Посреди ночи
все кушают мясо.
А вечером выйдут к каналу
В парке Тиргартен
Из карманов вытрясти в воду
Крошки – это как будто грехи.
Скоро можно за новые взяться.
Мужчины танцуют в кругу,
И чёрные шляпы мелькают.
Лишь тихие женщины
В дорогих париках
Не нарушают спокойствия
Птиц, покорно сливаясь
С природой.

СУОМЕНЛИННА

Суоменлинна, почему я рассталась с тобой?
Чего я не видела в пыльном городе,
Где магазины шурятся ценами,
Кафе манят и зазывают притворно?
Можно, я буду жить в твоей
Старой крепости, среди камней
и скал у самого синего моря?
Мне не нужна Золотая Рыбка.
Я съела много рыбных деликатесов,
Фаршированной рыбы, креветок.
А теперь я брожу здесь одна
И мне ничего не надо,
Кроме воды и ветра,
Серых и белых лебедей,
Отраженья в воде Суоменлинны.

ПТИЦА

Может быть, в следующем рождении
Я буду птицей, вот такой морской птицей
с тонкой шейкой и острым клювом.
Я буду плавать вдоль берега,
Опускать мой клюв в воду,
Питаюсь мелкой рыбёшкой.
Мне не надо будет никуда улетать.
Я буду жить у тёплого моря
Без стаи, совсем одна.
Я и сейчас одна, сижу на камне
У тёплого моря.
Но я всё ещё не птица.

[75]

БАХАДЫР

На коврике в позе лотоса,
В красном своем костюме,
Маленький странный Будда
С бритой головой.
Приехал из Самарканда.
Не знает о Бахаизме,
Хотя он сам Бахадыр.
Он не был ни разу в Хайфе,
В саду не бывал Эдемском.
Зато он знает все суры,
Читает Коран усердно,
Смотрит их на экране,
А то и поёт протяжно
И громко, как русский поп,
Но на языке персидском.

Живёт с ним и чёрный
Котик, зовётся наш кот Маркиз.
Гостей он встречает важно,
Потом до дверей проводит,
Опрятный и чистоплотный,
Кошачий блюдет этикет.
Обедает вместе со всеми –
Он важно идёт к тарелке,

Что стоит в уголке.
А ночью, как маленький
Призрак, сидит на окне
И смотрит в темнеющий
Мрачный сад.

Приходят какие-то люди,
Приводят детей и внуков.
Чай пьют с нашим шаманом,
Беседуют долго с ним.
На коврике их осмотрит,
Стучит своим молоточком
По спинам старых и малых.
И, говорят, помогает.
Он нигде не учился
В 37 лет, как у Будды,
Было у него видение –
Лечить и спасать людей.

Я в эти сказки не верю –
Дитя врачебного дома.
Смотрю на него с сомнением –
Всё это фантазий мир.

Но что-то странное всё же
Вокруг него происходит –
Его исчезают фотки,
Хоть тысячу раз снимай –
Нет их, как не ищи.

А тут на днях показал он
Какую-то серую травку
С кругленькими плодами.
Говорит – только
В Самарканде
На жарком выжженном
Склоне какой-то горы
Особой
можно её собрать.
Поджёт он в кастрюльке
Травку – застлало
Дымом квартиру.

Сначала я испугалась,
Хотела проветрить дом,
Но эта ведьмина травка
Имела эффект суггестивный –
Приятные ощущения,
Позитивный настрой
И странная эйфория
Меня тогда охватили.
Я как-то смирилась с миром
И даже с самой собой.

[77]

Вот так оказалось шаманство
Приятной и нужной штукой.
А кто мне совсем не верит,
Может идти к врачам.

ИСПАНЕЦ

Ах, эти танцы с жарким испанцем –
Головокружение и восторг.
Как удержаться, не увлечься
Переступить запретный порог?

Он очень близко, сердце стучало,
Ритм отбивало, – счастья залог.
Волны на море, радость и горе,
Кровь закипает, рвётся висок.

Здесь бы остаться, пальмы и море,
Жаркий испанец, солнце навек.
Но зимнее утро вспомнится вскоре –
Холод, туманы, ветер и снег.

Город большой с суетой и делами.
Звоны трамваев, толп пестрота.
Вот отчего – со слезами-словами
Райские пальмы – только мечта.

Саади Исаков

ЗАПАХ ЧЕСНОКА

Лёня Шильдкрот, мой сосед по дому, вернулся из поездки в Иерусалим мрачным. Его не было те самые три недели, пока жара у нас в городе перевалила за сорок при очень высокой влажности. Так обычно бывает, когда ветер дует с моря.

Лёня в такое время уезжает в Иерусалим, где климат посуше и дышать легче. Конечно, он мог бы в эти дни вообще не выходить из дома, но у него конфликт с кондиционером, который здесь называется дурацким словом «Мазган». Лёня простужается и почти все жаркие месяцы болеет, причем всеми простудными болезнями, известными нашему общему врачу уха, горла и носа, Семёну Радкину.

Лёне в одном повезло. Поликлиника больничной кассы «Маккаби» – в начале нашей улицы, и он ныряет туда, как краб в море.

В этот раз Лёня долго собирался в Иерусалим. Ещё бы немного потерпел, и жара бы спала. Так, собственно, и получилось. На следующий день после его возвращения температура воздуха достигла градусов тела, 36,6. Любопытно, что вода была на градус холоднее, то есть почти то же самое, что воздух, только мокро. Через неделю стало 27, и купальный сезон при температуре воды 25 закончился. Началась зима.

Так случилось, что пока Лёня собирался в Иерусалим, нагрянули праздничные дни, со всего мира стали съезжаться евреи на Рош Хашана, Йом Кипур, Суккот и Симхат Тора, и в стране перестали работать, как в России на Новый год или майские, только не две, а все три недели. В это время в Иерусалиме нормальную гостиницу не достать.

У Лёни в Иерусалиме никого нет. Обычно он позволяет себе снять в городе гостиницу недалеко от Яффских ворот и отдыхает от повседневной жизни за изучением Вечного города, беспечным хождением с разинутым ртом и глазением по сторонам. Разве что пару раз

подойдет к Стене Плача поблагодарить Б-га, вообще, за жизнь. Он никогда ничего не просит – всё что ему надо, у него есть.

Лёня говорит, что в Святом городе он отдыхает душой. Впрочем, от чего он отдыхает дома, не ясно. В повседневной жизни он не делает ровным счётом ничего: встаёт, когда получится, идёт на море, там прогуливается по берегу до пятой двухэтажной спасательной будки и обратно, километров пять-шесть, пьёт чёрный, как дёготь, кофе на берегу, читает газету, днём обедает в одном из русских ресторанов, потом зайдёт домой вздремнуть ненадолго, вечером сходит на центральный рынок, где поймает кого-нибудь из знакомых и начнёт задавать свои еврейские вопросы, типа: «Почему Г-дь ничего не хотел от Сарры, а только от Авраама», или «Почему Сарра сразу умерла, узнав, что Авраам чуть не убил сына». Или может спросить: «Зачем Ной взял с собой в Ковчег навозных мух? Не было бы лучше, если бы их смыло Потопом?»

Когда наступают сумерки, Лёня смотрит телевизор и ругает обе власти, израильскую и российскую. К обеим у него стойкая и давняя неприязнь, потому что они ничего не могут. Или идёт в синагогу. В нашем районе их штук двадцать всех направлений и мастей, в смысле – английские, русские, французские и местные, ультра ортодоксальные, ортодоксальные, сионистские, реформистские и либеральные. По утрам в субботу, когда совсем тихо и по нашей улице не ходит транспорт, со всех сторон из открытых окон синагог слышен гул, похожий на мычание.

Лёня ходит в самую близкую, русскую, в ста метрах от дома. Именно наш раввин посоветовал Лёне телефон знакомого, у которого своя небольшая гостиница. Там случайно оказался свободным двухкомнатный номер. Хозяин первым делом спросил Лёню, верующий ли он.

– Время от времени, – не соврал Лёня.

– Тогда постарайтесь не шуметь и вести себя прилично.

Лёня схватился за этот номер и в течение часа исчез на три недели.

– Что с тобой, Леонид? – спросил я, глядя на его тяжёлое настроение. Мы сидели за столиками ресторана прямо под окнами нашего дома, пили чай и ждали, когда нам принесут толстую пиццу, мне с тунцом, ему с козьим сыром.

– Иногда человек может совершить такое, что диву даёшься, – пробурчал он, – и где, на нашей Святой земле! Наши праотцы-сионисты мечтали о том, что здесь появятся собственные проститутки и воры? Так они своего добились. Я бы сказал, даже преуспели. Но вот такого я никак не мог ожидать!

Я посмотрел на него с любопытством поверх стаканчика. Чай был горячий, я ещё не успел отпить, как стекла очков уже запотели, и Лёня еле просматривался в тумане.

– Ты помнишь, я поехал в гостиницу по рекомендации нашего раввина. Зашёл, отрекомендовался, напомнил, что заказал номер. Хозяин, а это он меня встретил, расспросил про ребе Залмана. Я рассказал, что изредка его вижу и передал привет. Хозяин обрадовался, будто ближе Залмана он никого в жизни не знал. Сказал, что мне здесь будет хорошо. Звали его Ионатан. Я сперва думал, что он ашкеназ, но, представь, он оказался из Марокко. Ни за что бы не подумал! Тут и я со своей стороны обрадовался. Помнишь, я тебе показывал, у меня есть одна штуковина на иврите, которую я по случаю купил в Марракеше?

Я вспомнил. Это были два прямоугольных куска кожи, тёмные, как бока старых чемоданов. Они были исписаны текстами на иврите. Лёня, несмотря на сомнения грамотных людей, полагал, что это отрывки из Торы, написанные на пергаменте. Мне же казалось, что это древние деловые письма. Тем более, что если их начать соединять и скручивать, свиток получится толще кабельной катушки. Основным аргументом Лёни было то, что продавец не мог его обмануть. Наивная душа. Кто же, как не он?

В дополнение к свитку Лёня с гордостью демонстрировал всем высокую чернильницу из слоновой кости с серебряными окантовкой и крышкой, а также перо из той же кости, очень подходящее для работы с текстом по коже.

– Ты же знаешь, – продолжал он, – я всегда их беру с собой, не потому, что это ценность, хотя я уплатил за них всего... – Тут он называл такую низкую цену, что возникал вопрос – а не слишком ли Лёня переплатил?

– Ты же знаешь, это у меня как талисман. Если они не со мной, мне кажется, обязательно случится несчастье. Поэтому я всегда беру их в дорогу.

– Ты, брат, суеверен. Не замечал.

– Гостиница, – продолжал он, – скажу тебе прямо, так себе. Типичная гостиница для ортодоксов-паломников, приезжающих отовсюду минимум раз в год в Иерусалим. Коридор, маленькая гостевая с встроенной кухней, диван, круглый стол, два стула, спальня величинной с одну двухместную кровать, шкаф. Чтобы открыть обе дверцы, надо встать ногами на кровать. Тушки тараканов лежат в коридоре под лестницей и во всех углах. Видимо, их так усердно травят порошком, что не успевают убирать. Но это сойдёт, две-три недели можно потерпеть, как ты считаешь?

– Наверное, – предположил я.

– На стенах у них там картины. Хасиды танцуют, портрет их главного хасида, широколицего старичка с бородой, в шляпе, талесе и с тфилином на лбу, в коридоре на одном этаже – хасид молится, на другом – хасид изучает Тору, – одно и то же везде, как во всех домах у хасидов. Будто они ничего больше не делают, как танцуют, молятся и изучают Тору, и жён у них нет. Впрочем, как и фантазии. Хозяин предупредил меня, чтобы я вёл себя тихо, потому что соседи у меня религиозные, добропорядочные люди. Если бы ты знал, как орут эти добропорядочные люди и их дети, которые бегают туда-сюда по коридору, ты бы в жизни не поселился в этом вертепе.

– Не повезло тебе, – согласился я.

– Это ещё что! Вот ты скажи мне, неучёному человеку? – он почему-то считает меня учёным, – я был однажды в Нью-Йорке, пошёл ради интереса в район, где живут одни ортодоксы. Забыл надеть кипу. Иду с фотоаппаратом, никого не трогаю. Так ведь четверо на меня набросились с кулаками, чуть не избили. Я тогда первый раз задумался о том, что набожность не всегда бывает нравственной. Ведь сколько в их поступке и действиях было злобы и даже гнева. А гнев – это ведь грех? Так? Я тогда впервые подумал о том, что вот они целыми днями молятся, а сами от этого лучше не становятся. И меня, – прибавил он ни с того ни с сего, – очень раздражает, когда они, опаздывая на молитву, перебегают дорогу на красный свет.

– Наверное, служить Б-гу – это одно, а быть хорошим и правильным человеком – совсем другое, – подытожил я его мысль.

– Очевидный факт. Атеист может быть в сто раз лучше набожного, но кто-то же должен служить Б-гу?

Опять заговорили о Б-ге. Израиль – это такая страна, что всё буд-то пропитано Б-гом, и ты хочешь, не хочешь, а без конца думаешь и говоришь о нём. «Тут, похоже, даже кошки грустят и думают о высоком», – подумал я.

– Всё равно я никак не могу смириться с тем, что можно знать наизусть все тридцать семь трактатов Талмуда и при этом оставаться невеждой и прохиндеем, – сказал Лёня и вдруг сменил тему:

– Скажи мне, если Б-г так всемогущ, то почему он не может вернуть время назад? Например, сделать так, чтобы Гитлер и Сталин не родились?

– Не хочет, наверное.

– Почему?

– Не знаю, зато может как-нибудь поправить потом. Сколько раз замечал.

– Как это?

– Например, в итоге появилось государство Израиль!

– Ты хочешь сказать, что Израиль возник благодаря Гитлеру и Сталину?

Лёня явно завёлся, стал размахивать руками, вспотел и смахнул свой стакан с чаем на свежую газету – мы её между собой называем «Охреневший Идиот» – и снова расстроился. Официант вытер стол под наши бессмысленные извинения, хотя стол был почти сухим, и сменил стакан.

– О том, что ты прольёшь чай на газету было записано в Книге Судеб миллион лет назад, – пошутил я, – и то, что ты уже с утра наелся чеснока – тоже, между прочим, было предназначено на небесах.

– А что, пахнет?

– Ещё как.

– Извини, случайно получилось, не хотел. Удивительное дело, ведь чеснок – хорошая, полезная вещь, а с душиком.

– Ладно, забудь. Так что тебе сказали марокканцы по поводу письма на коже?

– Как ты угадал? Я сразу им похвастался, что у меня есть марокканская Тора. Ионатан спросил, как мне удалось её вывезти? Я ответил, что это было ещё тогда, когда у меня не было израильского паспорта и я мог ездить, куда хотел. А вывезти было проще простого. Там у них на границе никто ни на что внимания не обращает. Я тогда подумал, раз они всех евреев из страны выгнали и всё добро отняли, то заберу-ка я эти штуки с собой. Потом я также контрабандой привёз их в Израиль. Подумал, раз хозяева уже здесь, то пусть и вещи их здесь будут. Может, когда-нибудь они встретятся. Мне казалось, что это вещи какого-нибудь известного раввина из Марракеша. Меня несколько не мучила совесть, когда прятал рукопись в чемодан. Я чувствовал себя почти героем, и гордость моя была безграничной. Я был честным контрабандистом и борцом за справедливость.

– Да, – согласился я, – если это действительно отрывок из древней Торы, что может быть ценнее?

– Когда я узнал, что хозяин гостиницы марокканец, я даже подумал, вот как всё совпало. Может, он знает, чьи это сокровища. Я бы даже согласился ему их подарить. Но он особого восхищения не показал. Ладно, подумал я тогда, значит, останутся они у меня. Главное, они здесь, на Святой Земле. На следующий день Ионатан пришёл с ещё одним человеком. Тоже набожным, и тоже вылитым ашкеназом, хотя тот был марокканцем. Он осмотрел вещи и предложил показать одному знатоку, очень известному и учёному, и чтобы я не волновался, они честные, религиозные люди и завтра всё вернут. Я сказал, между прочим, что расставался со своими сокровищами всего два раза в

жизни, что чистая правда, когда летел в самолёте из Марокко и в Тель-Авив, а они были в багажном отделении, но им я доверяю.

– Они, конечно, назавтра не вернули.

– Разумеется. Но к этому я здесь давно привык. Необязательность, ты сам знаешь, почти святая норма. Потом были праздники, Судный день, потом ещё, ну, ты знаешь, затем Шабат. В воскресенье рано утром Ионатан заверил меня, что днём занесёт мои сокровища, и если меня не будет в номере, то положит на стол. Но на столе ничего не было. А мне через час надо было уезжать. Я спустился вниз. Хозяина там не оказалось. Была его жена, молодая женщина, милая, в парике, обрамляющем узкое лицо. Одета, между прочим, со вкусом, на французский манер. Где её муж, она не знала. Про чернильницу и свитки слышала впервые. Предложила подождать. Я спросил, сколько ждать?

– Может час, а может больше.

– Но меня уже ждало такси, – продолжал Ленья. – Я мог, конечно, не торопиться, если бы не дела здесь, в городе, которые я назначил давно и уже не мог отменить. Откладывать было неловко. Я уехал. Уже в поезде я позвонил Ионатану узнать, в чём дело. Он извинился и попросил, чтобы я не переживал. Он, оказывается, положил мои вещи в стол, а не на стол, и я их не увидел. Мы посмеялись по поводу того, что мне стоит подучить иврит, чтобы не допускать больше путаницы. Он пообещал мне всё выслать по почте.

– Ну и что ты переживаешь?

– Уже прошла вторая неделя.

– На почте затерялось, скорее всего, – предположил я.

– Я уже справлялся. Ищут, но мне кажется, рукопись уже обрела своего хозяина.

– Так ведь ты сам того хотел!

– Да, хотел, но не так. Я ведь хотел распорядиться как-нибудь сам. Но это не всё. Этот Ионатан снял с моей кредитки деньги за гостиницу и еще дополнительно четыреста шекелей за консультацию у знатока. Я хотел вернуть эти деньги назад, но потом не стал. Мелочь. Пусть подавятся, зато я теперь точно знаю цену тому, что я потерял.

– Ну и какая цена? – спросил я.

– Эти вещи бесценны!

– Б-г дал, Б-г отнял, – подвёл я черту и с пафосом, мне несвойственным, добавил, – а те двое набожных – это, как виолончель в руках виртуоза.

И тут же мне стало стыдно за этот словесный выкрутас.

– Правда, но оно как-то пошло, безнравственно получилось. Будто в насмешку над моим контрабандистским подвигом.

– А ты хотел медаль? – спросил я.

– Наверно, ты прав. Но всё равно, позор их правоверным предкам в раю, – произнёс Лёня самую страшную кару, какую можно себе представить.

Я уже приготовился к грому и молнии, таинственному неземному гудению, и закрыл глаза, чтобы не видеть, как Лёня улетит за это в тартарары, но, когда открыл, понял – ничего не произошло, и даже запах чеснока не улетучился и не сменился на запах серы.

[84]

ЛЕГЕНДА О РЫЦАРЕ

В одном забытом Богом крае,
Куда стреле не долететь,
Где воронья кружатся стаи
И по пятам крадётcя смерть,

Ложатся мутные туманы
Сырой тяжёлой пеленой,
Стоят песчаные барханы
Непроницаемой стеной.

Там, словно призрак одинокий,
Среди развалин вековых,
Живёт больной старик глубокий –
Свидетель подвигов былых.

До плеч его седые кудри,
По грудь седая борода,
Теперь он – слабый старец мудрый,
А раньше – рыцарь, хоть куда:

Высок, красив, умён и молод,
Силён и смел, как леопард.
Не устрашат ни меч, ни молот,
Ни стрелы острые, ни ад.

Он побеждал в любых сраженьях,
Врагам пощады не давал,
И конь послушен был движенью
И чутко воину внимал.

Влюбился рыцарь. В тайной страсти
Томился ночью он и днём.
С чужой женой – одни напасти,
Но душу жгла любовь огнём.

И на него с дружиной верной
Пошёл ревнивый муж войной.
Впервые был герой повергнут –
Та битва стала роковой.

С тяжёлой раной, без движенья
Лежал он в пропасти на дне.
Спасло, наверно, провиденье:
«Он жив. Но где? В какой стране?»

Несчастливым пленником безродным
Он жил, казалось, целый век.
И убегал... Хотел свободным
И быть счастливым человек.

Кому расскажет он о прошлом?
Где побывал? Что повидал?
Когда и как врагами брошен,
Он на чужбине увядал?

Чужой язык, чужие лица.
Где замок свой, своя родня?
Вернуть бы прежнюю страницу –
Здесь не остался бы ни дня.

Порой бессонными ночами
Мечтал, когда сгущалась мгла,
О той, что страстными очами
Огонь любовный разожгла.

А время шло, и бесприсветно
Существование его.
Всё унеслось с порывом ветра,
И не осталось ничего.

И бродит он среди развалин,
Вспоминаньями томим.

Кто знает, что случится с нами?
Мы путь свой не определим.

Судьба свои играет роли,
В её руках живая нить.
Не соглашаясь с этой долей,
Попробуйте переменить!

А перемены плыли сами,
Наверно, Божья благодать:
Старик, с какими-то гостями,
Сумел записку передать.

И ждал. Хотел теперь немного.
Увяли молодость и страсть.
С молитвой он просил у Бога –
Успеть бы в дом родной попасть.

Наверно Бог услышал слово.
Иль выкуп был хороший дан?
Но старика полуживого
Увозит пышный караван.

Картины видит он иные:
Леса, луга и гладь озёр.
Под небесами голубыми
Полей раскинулся простор.

Ночей прекрасные алмазы
Сменяет розовый рассвет.
Родное всё приятно глазу,
Но к прошлому возврата нет.

Пришёл старик в свои палаты,
Но там – опять чужой народ.
Где все, с кем бражничал когда-то?
Он никого не узнаёт.

А что за старенькая дама
Сжимает в кулачке платок?
Закончилась большая драма –
Тяжёлый жизненный урок.

Она – вдова уже. Внучата –
Весь мир её, любовь, дела.
Жизнь, что уходит без возврата,
Красу былую отняла.

Так мы бредём, не зная брода,
Судьбе навстречу, как во сне.
Рабами – в поисках свободы,
И бьёмся бабочкой в окне.

ВЫЗДОРАВЛИВАЮ

Иссохло русло вдохновенья –
Колодец вычерпан до дна.
Нет ни влеченья, ни горенья
И Муза рядом не видна.

Спокойно сплю и тихи ночки, –
Не требуют карандаша,
Не скачут по бумаге строчки,
И не болит за них душа.

К панно, картинам ссохлась тяга,
Приелись куклы и стихи,
Не надо мне такого блага!
Всё к чёрту и на всё «апчхи»!

ПЕНЬ И ПИЛА

Возле ветхого сарая
Встретил старый Пень Пилу:
Молодая, озорная –
Сердцем влип он, как в смолу.

Острозубая улыбка...
Пень готов сорваться к ней.
Стан блестящий, тонкий, гибкий –
Нет красавицы милей!

Видит Пень: пришёл верзила,
С ним Пила его визжит,

Зубы острые вонзила –
Пень у ног её лежит.

ИДЕЯ... ИДЕ Я НАХОЖУСЬ?

На площадке возле школы
Старшеклассники стоят.
Слышу я слова: «приколы»,
«Бабки», «тёлки» – говорят.

[89]

Я была в деревне летом,
Эти слышала слова.
Но ни «чикса», «фейк» – при этом,
Просто кругом голова!

«Жесть – прикид! Реально, в тренде.
Где, в натуре, взять бабло?
Всё в моём ассортименте
Стрёмно. С зеленью – облом.

Дури нет, меня колбасит.
На дискачь пойти тусить?
Всё – путём. Брателлу Васе
Стрелку я могу забить».

В разговор вмешался Лёва:
– Уважуха, я с тобой.
Это клёво, очень клёво.
Остальное всё – отстой.

Лох один, такой пантовый,
У него бухло возьму.
Даст на шару. Кадр новый,
Фиолетово ему.

Макс, «матешу» сбрось на «мыло».
«Плющит». Всё, в натуре, «в лом».
Чао, всем!
Я вдруг забыла
Свой язык, и где мой дом.

Константин Кербель

ТРИ «ОШИБКИ» АДВОКАТА БЕССОНОВА

ПРОВОДЫ ЛЮБВИ

«Ошибка» первая

Витька Шван, по кличке Швандя, устраивал проводины. Для всей полублатной шпаны это был «святой» повод обожраться и пожелать новобранцу «отличника боевой и политической подготовки». В других званиях они не очень-то разбирались. Баба Лида, товарка на автобусном пятаке, откровенно расплылась: «Наконец-то, эта рыжая скотина сгинет с глаз».

Не понятно, как могла мать так относиться к сыну. Всегда его била всем, что попадалось под руку. Даже боевыми предметами: ухватом, кочергой, веником, сковородками. «Огненная бестия» убегала через дверь. Вдогонку ему летели «чуни». Это была особенная шахтёрская обувь – срезанные литые резиновые сапоги. Были они всепогодными. Легко надевались и легко слетали с ног. Вес им придавала подошва с автомобильным протектором и металлическим «ступенатором». Их всё ещё можно было найти на складах, где были они со времён коногонов.

Швандя, – охристо-палевый двуногий корсак, был перезаряжен энергией. Обсыпанный от макушки до «Ахиллесовой пяты» конопатами, он мстил фантастически изощрённо: подменял соль сахаром; муку заливал водой; мочился в тапочки; под подушку подкладывал помёт; собирал клопов и раскладывал их по матрасу. Находил затулье, затем оттуда наблюдал за действием своих проделок, кусая кулачки, чтоб не выдать себя. Одним словом, наслаждался. Мать быстро находила его. Необъятный объём её пышного тела и её медленное передвижение явно проигрывали перед юркой, мгновенно летящей, огненной «стрелой» сына.

Старый Шван погиб в шахте. Как презрительно говорили горняки: «Сидел на кнопках». Включал и выключал рештаки конвейера, по которому на «гора» шёл уголь. Во время войны эту работу выполняли женщины и подростки. Сам Шван был здоровенным «дядякой». Вальяжно-беспечный, сыто-благополучный, с округлым брюшком. Никогда и никуда не торопился, большая его голова утопала в пышной чёрной шевелюре. Немыслимо было представить размер его шахтёрской каски, защищающей этот баттолит. Свою бабу Лиду он колотил регулярно, методически, в отличие от других. Те прикладывались к своим бабам раз в неделю.

Грунтовые воды пробили вентиляционный штрек и затопили очистительный забой. Шестерых человек хоронили торжественно, с музыкой. Памятник поставила администрация. Вдовам выдали пенсию.

Витька учился плохо. Торчал по два года в одном классе. Видимо, с дурью мать выбила из него что-то поважнее. После пятого класса вечерней школы и ПТУ работал на разборке задних мостов на Авторемонтном заводе. Швандя вытянулся, раздался в плечах, двигался быстро, весело, озлобленно. Работал молча, без улыбок, со злобой. Сбивал заклёпки, вырывал шпильки, срывал огромные гайки. Получалось. План перевыполнял.

Клавдию привёз из Старой Ивановки – деревни на берегу болота-озера Курлады. Как дородная, пышущая здоровьем, дебелая деваха уместилась на раме велосипеда, было необъяснимо. Удивительно, но к этой белотелой глыбе он относился с непонятной нежностью и вниманием.

Мать старалась лишний раз не попадаться сыну на глаза. Уходила на огород, ползала по грядкам. К вечеру запиралась в сарайчике и малыми дозами гнала самогон. Своим клиентам на базаре сбывала две-три чекушки, прикрытых пучками редиса и лука. Швандя знал о её подпольном приработке, но его это не касалось. Даже забавляло то, что «старая» дурит кого-то.

Клавка накрывала праздничный стол. Винегрет, отварная картошка, селёдка пряного посола, помидоры, огурцы, зелёный лук. Витька не удержался, опрокинул стакан водки. Больно понравилось ему это семейное хлопотание. Пересчитав питьевые припасы, решил, что маловато. Засунул «аваську» в карман, зашагал к гастроному.

Продавщица уже знала, что у Швана проводы. На посёлке тайн не бывает. Подала четыре бутылки «Московской» и сдачу. Сложила губы бантиком, грустно покачала головой, глаза подёрнулись влагой, перекрестила парня в спину.

- Земеля, закурить не найдётся?
- Да не курю.

Швандя повернулся к молодому мужчине, стоявшему на ступеньке магазина.

– Ништяк ты заправился. Свадьба? – спросил тот.

– Да на проводины, – ответил он незнакомцу, пристально смотревшему на головки бутылок, торчавших из авоськи.

– Пацаны курят. Здесь недалеко. Приглашаю.

Весёлый, добрый, всёрешающий, подошёл к дому.

– Закурить есть у кого?

Он оглядел гостей, сидящих вокруг стола. Друзья по бараку. – это самые близкие, с детства. Двое – с ПТУ, из шинного цеха. Бригадир и ребята с моторного были с жёнами...

– Ты, молодой человек, садись за стол, выпьем, закусим, проводим нашего новобранца, а потом покурим, – бригадир говорил стоя, со стаканом в руке.

– Вот, Виктор, что я скажу. Мужик должен служить Родине, иначе это так, слизняк. Честь береги! Нашу уральскую, горняцкую! Врагам спуску не давай! Помни, солдат Советского Союза – солдат победитель! Ну, с Богом!

Все чокнулись, дружно выпили. Говорили много, наставляли, поздравили, гордились.

Клавдия пригубила стаканчик, с умилением взирала на свою вулканическую любовь. Свежее, приветливое лицо, раздумянилось. Тугие косы уложила «короной». От услышанных слов брови её были слегка приподняты, вроде от удивления, карие глаза блестели. Молодость, радость, беззаботность. Разлука не пугала, даже вселяла надежду. Очаровательная молодая женщина, красавица.

Новый гость чокался со всеми, но к спиртному губами не прикасался. Ел много, жадно, аппетитно.

Мужчины выходили покурить и вновь возвращались к столу. Неженатики упорхнули на танцплощадку, семейные прощались долго, у ворот, обязательное «на посошок».

Клавдия убирала со стола. В лёгком тумане покачивались её плечи и сильные руки. Оконные занавески, малиновый абажур, силуэт мужчины, – медленно проплывали в тёплом, ватнобелом окружении. Швандя, придерживаясь стен, вышел во двор. Голова запрокинулась, выхватив кусок неба с жёлтым пятком. Назад возвращалась долго и медленно, пока не упала на грудь. Автоматически потянул за скобу, шагнул в сарай. За печкой стояла фляга, накрытая полотенцем. Зачерпнул с самого дна. Проглотил густой, бражный осадок. Опустился на пол, вытянувшись во всю длину роста.

Утро было тяжёлое, похмельное. Виски пульсировали отбойными молотками, затылок вдавливал пудовый груз. Губы опухли, покры-

лись коричневой коркой, Клавдия куда-то запропастилась. Отхлебнув воды из ведра, схватил приготовленный вещмешок и поспешил в Райвоенкомат. Опаздывал на целый час.

Во внутреннем двореке три десятка призывников курили, знакомились, гадали куда попадут. Часа через два появились сержант и майор из военкомата. Всех построили в шеренгу. Офицер достал личные дела.

– Шван Виктор Александрович, два шага вперёд.

Швандя вышел из строя. Из боковой двери появились два милиционера.

– Это он. Забирайте, – повернувшись в ним произнёс начальник.

Вещмешок отобрали. Вывели за ворота, усадили в «воронок». Привезли в изолятор.

Сняли часы, ремень, обыскали, повели по коридору, поместили в камеру. На третьи сутки вывели. За столом сидел молодой мужчина. Указав на свободный стул, бросил: «Садись».

– Ну, рассказывай, как проводы?

– Чё рассказывать? Нормально.

– Да-а... – в голосе смешались удивление и угроза. – а изнасилование?

– Какое ещё изнасилование?

Витька совершенно опешил, глаза его округлились, он ничего не мог понять.

– Несовершеннолетняя, – выдавливая и растягивая слово. – Гражданка Овсянникова Клавдия Егоровна, тебе знакома?

– Клавка-то, конечно. Она, как бы, моя жена. Нас в Совете не расписали, сказали рано, подождать.

– Вы что, сожительствовали?

– Мы вместе... – ему не нравилось это слово, да он и вообще его не знал.

– Почему же она заявление написала?

Швандя неопределённо пожал плечами.

– Хорошо, буду добиваться очной ставки. Кстати, я твой государственный адвокат, Бессонов Андрей Николаевич.

Клавка подняла опухшее, покрасневшее лицо. Она сидела рядом с адвокатом. Не здороваясь и отодвинув ногой табурет, Витька грозно спросил:

– Ты чего наколбасила, полоумная?

– А ты чего оставил меня одну с этим варнаком?

Швандя плюхнулся на табурет:

– С кем это я тебя оставил, дура?

– Ты с гастронома его привёл, забыл? А он мне вот сюда ножик

подставил, она указательным пальцем показала на сонную артерию. Я плакала, просила, тебя звала. А он насилывал. Я в милицию сразу побежала. Потом хотела бумаги назад взять, а мне не дали. Сказали, дело завели.

Закрыв глаза руками, не сдерживаясь и не стесняясь, она по-бабьи заголосила.

– Прости. Витенька, не знала, что всё так будет. Хотела поугагать тебя.

– Так, гражданка, выйдите и успокойтесь, – он дождался пока не закрылась дверь. – Что это за друг такой? Сговорились?

– У гастронома встретились. На проводины пригласил. Он закурить попросил. Как зовут и кто такой, честно, не знаю. Только точно не наш, не поселковый.

– Ладно. Шагай, попробуем разобраться.

Суд проходил за закрытыми дверями. Свидетелю «висяк» совершенно ни к чему. Обвиняемый есть, по заявлению. Медицинская экспертиза факт изнасилования подтвердила. Искать неизвестно кого, никто не собирався. Статья 117 гласит: «Наказание от семи до пятнадцати лет».

Швана приговорили к десяти годам лишения свободы, с отбыванием в лагере «усиленного режима». Апелляции адвоката на пересмотр уголовного дела, были отклонены. Клавкины «общие» и «личные» свидания Швандя не подписал.

«Ступенатор» – металлический стержень; (искажённое супинатор);

Корсак – степная лиса;

Затулье – закуток, чулан – место, где можно спрятаться;

Баттолит – магма, застывшая в виде гриба;

Штрек – центральная горизонтальная выработка;

ПТУ – производственно-техническое училище.

ЛЮДОЕД

«Ошибка» вторая

Таких фортелей в тюрьме отродясь не бывало – она орала, улюлюкала, гоготала изо всех окон. Пахомов из «семи пятой» получил обвинительное заключение. И вот-те выхлоп – самосуд. Они там что, совсем офонарели, зелень трамвайная?

Когда разобрались, и грянул праздник-фейерверк. За любовь си-

делец чалился. Да никакую – такую, а самую страстную, кровавую. С любимой своей законнобрачной, в любовном экстазе, от обилия чувств, отгрыз ей начисто «пимпочку» носа. Вот следак соплими умоется. Прокурорчик на погончик пепелок накрошит. Судье и заседателям не молоточком и ладошками стучать-хлопать! Открывай ворота, «свобода» – ровно из зала. Тут и кликуха прилетела. – «Людоед!» Страшно. Жестоко, но с юмором, закрепились!

Пахомов Фёдор из четырёхтягловой семьи, последышем был. Старшой в гражданскую отпартизанил. Двойники под Москвой полегли. Отец Данила после каждой потери всё настойчивее и ненасытнее «ручником» удары сыну-молотобойцу указывал. С восьми лет он уже на подростка смахивал. С каждым годом, 26 октября, в день поминовения воинов, на брани убиенных, отец вручал сыну новую кувалду. От прежней она отличалась весом, тяжелее на пятьсот грамм. К пятнадцати годам Фёдор работал уже семисотграммовым молотком.

Кузнецы всегда пользовались почётом и уважением. Их искусство особенное, легендарное. Проковать-упрочнить, заварить «несплошности». Размельчить крупные кристаллы – всё на глаз! Бело-жёлтая заготовка краснеет и, стыдясь, своего рождения, накидывает на себя тёмную окалину. Торопись, не зевай, не промахивай!

В этих годах он уже на своём слове держался. Знал ему цену! Говорил мало. Всегда свой порядок вёл. От отца не отставал, другим не поддавался. Ему это зазорно было. У них все в семье могутные были, на работу ловкие. В труде на таких со стороны смотреть любо-дорого.

Последыш, как положено, всё в себя вобрал. Высок, кудряв, чернобров. Плечи будто с подставищем. Кулаки-пудовочки, а ладони сведёт – ковш-лопата совковая. С нижней улицы зазноба завелась, но видно не судьба. От ухажёра нос воротила. На скрытого торгаша заглядывалась, ласковая. Оно и понятно, торговля ведь. Прежде, чем у «горщика» золотце скупить, стол накрыть надо, разговор навести, стакашником зарядить. Парень неплохой, только круглый какой-то. Такие всегда перевёртышами стать могут. Вот и с ней так случилось. Не зря говорят, что «чужим хлебом сыт не будешь, и за чужую спину не спрячешься». Пробовала опять на Фёдора воздействовать. Кузнец вида не показывал, что незадача у него душевная. Потому без утайки сказал, что не сойдётся у них дело, в разные стороны глаза-дорожки расходятся.

Марусеньку заметил он в соседнем селе, когда проверял заказ, сработанный на пашне. Росла она в сиротстве на примете у людей. Помутарило её с детства. Потому и к работе податная была. Ростиком средняя, тончаявая, где положено с округлостями. Сама светленька, да басенька. Глаза агатовые в искристом зелёном ободке. Нравом бой-

кая, да и находу лёгкая. Самое главное, – характером весёлая. Попеть, поплясать, – лучшая в округе. Так и сблизилась, соединилась. В четыре руки спорили друг с другом. В семье любовь и порядок. Троих детей поднимали, двух дочерей и сынишку. В доме всё чисто и гладко. И вот те на, – оказия-притча!

– Я ознакомился с вашим делом. Случай исключительный. Буду вас защищать. Моя фамилия Бессонов. Вопрос очень важный. Ваша жена сама заявление в милицию написала.

– Скажи на милость, человек хороший. Мы с Марусенькой-жёночкой по совету ладили. С каких таких понуждений нам на славе быть? Стурамнину разводить? В недужнице, болеутешный врачеватель подал помощь. На этом благодарствуем. На выходе уже взяли под стражу. Я ведь сном дела не знал, но не упорствовал. Так они стали приходить на меня, пригрождать.

– А вы. Ну, перед этим случаем, алкоголь употребляли?

– Мы с этим делом не связываемся. От него ведь недалече и всей семьёй сумки надевать придётся. Когда-никогда приму стакана два с устатку, но они мне сполуху не делают. «Жарко ковать, холодно торговать» – это мы с детства затолмили.

– Честно должен сказать, что уголовным кодексом Российской Федерации ваше деяние не предусмотрено. Каннибализм у нас отсутствует. Ордер на арест по «хулиганке» выписан был. Таких деяний и мотивов у вас я не нахожу. Надеюсь на условное наказание.

– Попущаться служба не думает. Мы пословные, токмо тамга тяжела. Да детишкам постоять бы.

На суде статья осталась без изменений. Марусенька, потерпевшая, – единственный свидетель. Как всегда на улыбке была маленько. Крепкая жила у неё имелась. Как будто вот-вот ласковое, затаённое слово скажет. Тем красота таинственней и притягательней становилась. Носик зарубцевался и чуть-чуть скурносился. Глаза жили сами по себе. Агат превратился в мокрый асфальт, а зелёные ободки покрылись патиной-паутиной. В любую минуту всё могло скатиться по лицу. Они выбрасывали скорбь. Грусть. Тоску, кручину. Всё было для них больно-болячо.

О чувствах не говорила и «оказию» не вспоминала. Суженного нахваливала. Удаль и заботу его показывала. Говорила, как у наковальни, он хоть с локтя, хоть с плеча без промаха бьёт. Что копейка у них потовая, денежка мозольная, потому и дорога, как жизнь и любовь.

Засмутила Фёдора своими обсказами. Охмурила всех, кто в зале присутствовал. Да только те, кто выше сидел, не больно податными оказались. Полтора года лишения свободы с «усиленным режимом». Вот такой вердикт самого «справедливого Советского суда!». Выходит

зря тюрьма праздновала и надсмехалась над властью. Иногда она не только выше закона стоит, но и вообще без него прожить может.

Адвокат долго успокаивался. Стыд и обиду сглатывал. Потом рассудил чисто по-житейски. Девять месяцев осуждённый под следствием уже отсидел, а остаток, как говорят «зеки», «на одной ноге у параша простоять можно».

Сиделец – подследственный;

Чалиться – сидеть в неволе;

Пимпочка – пятачок;

Четырёхтягловая – в 4 коня, с четырьмя детьми;

Ручник – молоток;

Попущаться – отступить;

Пословные – послушные;

Тамга – клеймо, печать;

Детишкам постоять – подрасти;

Сумки надевать – нищенствовать;

Басенька – привлекательная;

Притча – беда неожиданная;

Последыш – последний в семье;

Сполох – переполох;

Тожмить – повторять;

Обсказать – рассказать;

Горщик – золотодобытчик;

Перевёртыш – предатель.

[97]

Д и П / 2017

«УТКА ОСЕНЬЮ В БОЛЬШОЙ ЦЕНЕ» *

«Ошибка» третья

Утки летают высоко. Конечно, это не горные гуси, которые за восемь часов пролетают над Гималаями на высоте десяти километров. Фиксируют их только радары. Как эти птицы справляются с разреженным воздухом, солнечным излучением и низкими температурами, остаётся загадкой.

Колька Сухоруков вышел из конторы учётчика. Скуренными пальцами свернул солидную порцию махры. Затяжка скребанула горло, чуть поперхнуло дыхание. Сглатывая тягучую слюну, запрокинул голову. По умбристому покрывалу безоблачного октябрьского неба перелётом – волной «шли» утки. Стая была большая, выстроенная тремя дугами, вложенными одна в другую. Летели дружно, высоко, красиво.

Колян отшвырнул «обас», злобно матюкнулся и сплюнул сквозь зубы «ёлочкой».

С Лизой Пелевиной познакомился на танцах. В этом клубе было больше порядка. Парни «держали верх» над другими шахтёрскими посёлками. Девушки съезжались туда, где было меньше драк, играл ансамбль, а не «крутили» пластинки. Было весело и многолюдно. Она заканчивала училище. Будущий парикмахер. Он перешёл в одиннадцатый класс. Учился легко, не напрягаясь. Считался лучшим математиком школы. От этой Алгебры, Геометрии, Тригонометрии всех буквально тошнило. Учительницей Нина Дмитриевна стала в военное время. Специального образования у неё не было. Она, бедненькая, исписывала всю доску. Стирала мел и снова решала. Видя, что ничего не получается, полупросьбой, полуприказом вызывала Сухорукова. Он постоянно что-то решал своё. Отвлекался, выходил к доске и двумя-тремя действиями исправлял. Её муж, учитель физической культуры, Иван Сергеевич Кутепов, участник войны. Отдельный разведывательный лыжный батальон «подарил» ему минный осколок в спину. С ним и списали.

Через неделю Николай переехал к Пелевиным. Семья большая, шестеро детей. Кормилец, отец – «лесонос», погиб при «завале». Мать работала «банщицей». Принять одежду и выдать брезентовую робу не очень легко. Одни сапоги сколько весят. Каска, самоспасатель, белье. По три раза приходилось бегать от окна к стеллажам. За смену под землю спускались сотни мужчин. Так что копейка была тяжёлая, да и дома не отдохнуть.

Колька – мужик. Начал с сарая. Перебрал крышу. Зачистил и нарастил пол на чердаке дома. Там и наткнулся на «бердан». Дробовик с двумя десятками патронов был завёрнут в промасленную ветошь.

Осенняя охота на уральскую пернатую дичь открывается с конца августа и продлевается до середины ноября. От посёлка до озера «Курлады» чуть больше шести километров. Неглубокое, хорошо прогревается, с обильным содержанием питательных веществ. Водоём полностью окружён тростниковыми зарослями и камышом.

Кого здесь только не увидишь! Пеликаны, лебеди, бакланы, белые цапли, серые гуси и изобилие утиных.

Собирался на вечернюю «зорьку» основательно, не торопясь. Укладывал в вещмешок тёплые носки, харчи, патроны. Лизонька принесла шахтёрскую фляжку. Хитро улыбаясь, потрясла над ухом. Там что-то забулькало. Самостоятельно, бережно уложила подарок. Завязала мешок. Ванька, пятиклассник, старший из братьев, молча натягивал сапоги. Вихрастую голову накрыл картузом. Фуфайку застегнул на все пуговицы.

– Ты чего это удумал?

– С Колькой, за утками, – ответил так, как будто этот вопрос давно решённый.

– Мамка со смены придёт, я ей что скажу, подумал?

– Да ладно Лизавета, мы к этому времени уже дома будем. Мужчина – охотник, добытчик. Так уж повелось. Пусть привыкает.

Мальчонка отблагодарил взглядом. Лиза недовольно поджала губы, но быстро завернула в холстину краюху хлеба и подала брату:

– Смотри, будь рядом, не теряйся! Народища там уйма! Добытчики...

[99]

Сухоруков выбрал узкую, тихую протоку с окнами чистой воды, не затянутую ряской. Три-четыре моховика в кочках расположились у самых зарослей осоки. Совершать ежедневные перелёты с мест «днёвки» к местам кормёжки и обратно, не было необходимости. Корм в изобилии, но «вставать на крыло» два-три раза в сутки – инстинкт. «Бить» утку в полёте нереально. Подниматься и приводняться она вынуждена на скорости шестидесяти километров в час. Некоторые при полёте переваливаются с боку на бок. Расчитать «упреждение», «снимать» по маршруту или «вдогонку» – мало вариантов. Чаще всего они становятся «подранками». Без собаки таких не достать. Поэтому и выбрал тростниковую горловину.

Бойня началась с восьми часов. Били со всех сторон. Протока заполняется. Лёгкая рябь подгоняла дичь с перебитыми крыльями или, истекающих кровью, к горловине. Колька не сделал ни единого выстрела. Просто подбирал трепыхавшуюся в предсмертных конвульсиях птицу и связывал их попарно. Ванятка помогал. Довольный от удачной охоты, он развернул холстину и отрезал ножом солидную осьмушку хлеба.

– Откуда у тебя нож?

– На столе лежал. Я же охотник. Всё правильно. Перекусим?

Одним махом он осушил Лизаветин «подарочек». Тягучая, не выстоявшаяся брага клейкой массой заполнила глотку и не проталкивалась. Назад он её не пускал. Сделал глубокий вдох и опустил в желудок. Подташнивало, но почему-то стало весело и необыкновенно легко. Перебросив через плечо четыре связки пернатых: двух селезней, чирка и округлых крякв, с достоинством зашагал домой. В мыслях рождались вопросы. «В чём ценность охоты? Возможность на время вернуться в лоно природы? Почувствовать себя немного дикарем? Пробудить глубоко уснувшие инстинкты?»

Впереди замаячила спина. Кольку немного покачивало и эта бражная тошнота не отпускала. Он громко-злобно спросил:

– Мужик, который час?

Ответа не последовало.

– Я тебя спросил, время сколько?

Тишина...

Увеличив скорость и сорвав с плеча «Бердан», прикладом с двух рук, резко ударил в подзатыльник. Человек упал. Отставший Ванятка, отрезая ножом краюху хлеба, произнёс:

– О, деда Лешко! По нашему порядку, через два дома живёт. Ветеран. Мы ему звезду на калитку прибивали.

– Чего он не отвечал?

– Да он, Коля, глухо-немой с войны пришёл.

– Выродок старый!

Сухоруков снял с деда патронташ, пошарил в мешке и запихнул в свой трёх чёрных, резиновых чучел.

– Статья – грабёж. От трёх до пяти лет. Я – ваш адвокат, Бессонов. Вещи потерпевшему отдали, извинились. По следственному протоколу будем рассчитывать на четыре года.

Суд. Зачитали обвинение. Выступили общественные защитники от школы. Зачитали характеристику. Прокурор вызвал свидетеля.

– Скажи, Ваня, ведь ты один там был?

– Конечно один.

– Сам-то ты что делал?

– Да ничего я не делал. Стоял в стороне и хлеб дорезал.

– Ваня, а чем ты его «дорезал»?

– Перед охотой, со стола ножик и взял...

– Господин судья, прошу внести в протокол, что при совершении преступления, подросток стоял с ножом в руке.

Бессонов схватился за голову. В зале никто не понимал значения этих слов. Он попросил слова.

– Прошу, господин судья, эти показания несовершеннолетнего в протокол не записывать.

– Просьба адвоката отклоняется!

Статью «грабёж», прямо на суде поменяли на «разбой».

Она, «милая», несла от семи до пятнадцати лет наказания. Кольке дали восемь, усиленного режима.

Через год Лизанька приезжала на свидание с дочуркой на руках. Сухоруков был необычайно счастлив. Ещё через полгода он подписал в спецчасти документ «об отказе от отцовства».

Да, осенью утки действительно в большой цене.

**строчка из песни Александра Розенбаума.*

СЕЗОН

Нет, мы иллюзии не строим,
И громких фраз не говорим.
Сезон с тобою отрезоним,
И отпоём любовный гимн.

Погаснет в вышине воздушной
Искра прощального костра.
Недолгий свет её бездушно
Сольёт холодные уста.

Трава поникнет бахромою,
Печально изогнув свой стан.
Последний раз меня с тобою,
Ласкает луговой дурман.

Тепло лесной земли смешалось
С огнём, бушующим в груди.
Лишь лунным светом освещалось
Беспродолжение любви.

ЛЮБИМОЙ

Брови-стрелы вразлёт,
Нос с персидской горбинкой.
Страстно-чувственный рот
Словно смочен малинкой.

На плечах в беспорядке,
Да и прямо на лбу
Воронённые прядки,
Как следы на снегу.

Тянут руки-капканы,
Ноги бьют от бедра.
И колдуют дурманы –
Колдовские глаза.

Измощённо-счастливым
Я к устам прикоснусь.

[101]

Д и П / 2017

Константин Кербель

Безрассудно-ревнивый,
Пью, – никак не напьюсь.

Задержались мгновенья,
Будто звуки в словах,
Сохраняя томленье
В лебединых руках.

[102]

Из цикла «восток-запад».

«НАХОДКА»

Осенний занавес дождя
С туманом – мерзкая погодка,
Но отдаются якоря
В твоём порту, краса-Находка.
На рейде змейкой караван
К причалам тянется гудками.
Немудрено, в такой туман
Соприкоснуться вдруг бортами.
Команда вся, как на аврал,
Готова спорить с океаном,
Развеять миф «Девятый вал» –
ходить в шторма и ураганы.

ВОЛНА

Идём проливом «Лаперуза»,
До Кунашира сорок миль.
Волна, наложница союза
Воды и ветра, как медуза,
Безропотно ласкает киль.

Ночная вахта на исходе.
По горизонту полосой
Светлеет небо при восходе,
И обессиленные, вроде,
Шторма остались за кормой.

Шутливо лёгкое волнение
Океанических глубин.

Неведомо им пробуждение –
Прибоя грохот – наслаждение
От разрушительных картин.

Игрой, в истоме ожиданья
Лучей, в предутренней тиши
Волнует штиль, как наказание,
И рябью кроет в назиданье
Всех, кто покой искал в ночи.

[103]

Валерий Матэтский**КОНФИРМАЦИЯ ЧУВСТВ***И. В.*

Мне нравится,
Что Вы со мною стрóги!
Что обречён!
Что лунные дороги,
Все до одной,
Сплетаются в косу на Вашей голове.

Что голос вязкий Ваш
Зовёт меня во сне, напевами наяд,
И я, –
Стоокий,
Браня гвоздики звёзд,
Топчу беспомощно,
Скользящий чёрный мрамор
Магической тоски.

А ласки колоски
Нашёптывают мне,
Глазами ноготков на Ваших пальцах:
– Не пялься!
– Возьми! Или убей,
Всей сладостью больших колёс капли
Солёных слёз узкоколейки нашей страсти!

Мне нравится,
Что это в Вашей власти –
Казнить иль миловать, шутя,
Не ведая стыда

И, счастье
Обрекая багроветь, в азарта пасти.

Скользят дожди вожжами боли...
Рот –
Ворот рвёт!
Болеет голом!
Тоблом
Грозятся мóзги взорвать оковы воли!

[105]

Вот!
Я,
Голкипер киношной роли,
ловлю:
– Мне нравится, что Вы...

Чего же боле?

НИЧЬЯ

П. М.

Меж нами –
межами –
НИЧЬЯ
территория

И я
третируя
ораторию
ора
оравами
Вами
и мной
исторгаемых
хных

Их
впихиваю
в свою
свáю
изВАЯнного
воя

ПУСТЫНЯ ГРОТ-МАЧТЫ

И. В.

Есть вершина горы –
Горе!
Ветер! Снежные бури!
Море,
Прибитой прибоем дури...

Вымокшая насквозь душа!
Горечь!
Яд!
Изрыгающее себя, похмелье!
Скользкий выкидыш,
Ад-д-д!

Тройное «д»,
Как тройной «О де, де Колон»!
Без колонн, без единой! –
Все подрублены за один взмах –
Жах!

И нету тебя,
Лю-би-мой...
Единственной, никакой!
Хрупкой, кукольной, балеринной,
Тонко тренькнувшею струной!
Ой!!!

Как жжёт, сучит и чесочит
Ртутный шар
Антарктической ночи!
Очень

Рвётся сорваться пулей
От меня, к тебе
Или на-о-бо-рот!

Грот,
Лагуна, корабль, борт –
«Летучий Голландец»...

Конец! Пустыня
На грот-мачте –
Брейд-вымпелом
Стынет...

KUSS-KUSS

[107]

М. М.

Меня несёт
как листик ожелтлый осенних грёз
стреноженных тоской слоёных слёз морей
в глубинах виноградины «Kuss-Kuss»

И их холодный вкус
как сладость гибких пальцев утраченной любви
стреляет в изголовие длиннот
всех нот
отправленных в полёт
скольженьем жженья
проти́во-поставленья:
генетики «ЕВ-ГЕ-НИЯ» –
заГону слова ГНЁТ

Ожелтлый – (*неолог.*) оголтелый + пожелтевший;
«Kuss-Kuss» – (*нем.*) поцелуй / сорт винограда удлинённой формы;
Евгения – (*греч.*) благородная;

ОТОРОПЬ ТЕРПКОЙ КАННЕЛИ

М. М.

Я буду с Вами, на Вы!
Я буду Вас осторожно
поворачивать, как осенний лист,
прикрывая шляпой астральный свист,
увлекая Вас и себя её полями,
шляпы то есть, как Авгиевыми яслями
прикрывал свой имидж Геракл и
сложно-

слаженными движениями осенних па,
 мы обрушимся на
 державный Вы-
 стрел стрел, порождающих в сердце
 мохнатый сплин,
 обманутых страстью пустых перин,
 простынями икающих
 Bed-design

в этот пошло-тревожащий,
 кровоточаще-кричащий и
 систематически пускающий
 «петуха»
 и слезу,
 траекторией Ниагары
 некрофильного Вуду
 в Иуду Dasein.

Ах, истома
 томной души
 и ши-
 канирующая оторопь
 терпкой каннели
 осенней прели.

Bed – (анг.) кровать.

Dasein – (нем.) бытие, быт.

Каннели – (фр. Cannelé) пирожное, которое едят на завтрак, полдник и в качестве десерта.

Ши-канирующая – (неолог.) от немецкого «schikanieren»: мучить, преследовать, издеваться.

ИБИЦА ЖИЗНЕННОЙ СТАИ

П. М.

Павлиньи перья в настольной вазе
 И из каждого пера падает по-павлиньему глазу

И если не всматриваться и не знать что это глаза
 Можно подумать что накрошена бронза или же бирюза

Осыпавшаяся пыльца
С бабочкиного крыльца

Ибица жизненной стаи
На столе под японской картиной
С давно засохшим на ней апельсином
Так много лет во мне умирает

[109]

Ибица – чудесный остров наслаждений в Средиземном море с самым модным европейским курортом.

СТОРОННЯЯ СТРАНА

П. М.

*«Я сквозь тебя,
как ветер сквозь скрижали...»
V. M. «Утоли Моя Печали».*

Я – «сквозь»,
я – гвоздь...
А ты –
тугая ось,
но жизни наши –
врозь
проскрежетали.
И времени песок
томит педали,
как дождь в пути –
томит стеклянный сок.
Порог высок!
И каждый –
по другую
за ним, остался сторону,
оборванной струной...
Стороннею страной,
где странности, как раны
сторонятся

оружия,
взыскующего
боль...

Ты – ось!
А я,
как пьяный гость
в подлунном этом мире,
в твой женский миф –
фистулой заблудил,
и шорох перьев шумных крыл
тебя смутил,
как древний стр-ах,
и АХ!
впотьмах – заголосил
на рунах онемевших жил,
как пули в тире.

Фистула – название флейты.

СНА ГЕРОИНЯ

И. В.

Нас разделяют Векá и Векá
Нас разделяют Европы границы
Шелест страницы,
Денницы рука...
Вы – виртуального СНА героиня,
Я в нём,
НЕМАЯ
ночная
река.

В ПЕДАЛЯХ ДРЕВНИХ КЛАВЕСИН

И. В.

Исплáчу сердце!
Изреву!
Бордовой накипью верну,

Хотя,
Бордовой разве можно?
А чувства,
САБЛЕЙ –
Тупо в ножны,
Под лúку
Красному коню!

В полёт, раздето,
На измор!
На изморозь...
Рекой, под пулю...

В ключицы
Лютому Июлю
Оледенело
О-броню...
Или
Исторгну.

* * *

И смертью малой,
Как большой,
Но ранней...
Ранее причины
Кончины
Оторопи чина...
О, че-ло-вече!
Длинно Инно-
Сказание,

Но быстр ход
И остр,
Вершиною
Вперёд,
Осколок-прайд
Багряной
Льдины!

* * *

Так вмятины
Печалью вянут,
И внятнее
Московских зим,
Биг-Бена
Снобские туманы,
В педалях
Древних клавесин...

СБИТАЯ ЗВЕЗДА

И.В.

Люблю тебя!
 Безумно!
 Безнадёжно!
Ожогом жизнь,
 коль ты, мне –
 не судьба!

С тобой, – клинок,
узнавший свои ножны!
А без, –
 с орбиты
 сбитая
 звезда...

ПАРЛЕ ФРАНСЭ

И.В.

Тебя, рассеянно ищущу...

Разглядываю сферу залы
галактики смущённых мыслей.
Падает звезда. –
Не ты!
И не ко мне.

Обкусываю ногти...

И ноги, заодно.

Невидимое дно
звенит от перевозбуждения бомжей-вопросов
и, главный среди них:

– ТЫ ГДЕ?

И почему молчишь, «молчанием ягнят»?

Мне страшно!!!

[113]

Здесь, важно –

Обмануть себя!

Сказать:

– ТЫ – близко!

– Я чувствую голодный шёпот, твой!

Согласна?

Ну, вот,

опять звенит...

Или звонит мой хэнди?

Но, ты не знаешь ведь,

где номер мой ворчит,

пристёгнутый к карману недоуменья?

Так, звенья

простой цепочки

Не знают ничего о восхищении колье

Искусством ювелира.

Пол-мира!

Нет!

Весь мир моей души

выкладываю на кон,

как на коня «игристой» масти,

всего лишь, яблоком

среди фруктопада белой суеты.

Ответа нет!

Молчанье давит роговицу глазных орбит,

сорвать мечтая,

два,

ещё недостающих,

на конском крупе моих обид...

Улыбка не обманет токсикоза
– Парле франсэ?
– И по-английски тоже...

*Айфон (анг. iPhone) – мобильный телефон, мобильник, трубка.
Парле фронсэ? (фр. Parler français) – Если говорить по-французски?
«Игристой» масти – от игристого вина (шипучее вино). Намёк на
особую конскую породу – серая в яблоках.
Токсикоз – состояние беременных женщин.*

[114]

Д и П / 2017

МЕЖДУ МИРАМИ

И. В.

И я, между двумя мирами –
Потоком, в призрачную дверь...
Слабеет покорённый зверь...
Мерцают сумерки глазами

Твоих созвездий. Верь-не верь,
В тебе – закатным солнцем таю...,
Печаль с тоской перемежая,
Лаская грустную свирель.

У БРОДСКОГО СПЛИН

Белый конь на стене.
В белых яблоках, круп.
Крупно, пятна картин рефлектируют светом.
Том.
У Бродского сплин.
Плинтус белых гардин,
страстью гардемарин,
конфронтирует с ветром.

Утром трётся тоска,
скалит боль у виска.
Скулы, сколами скал –
в whiskey сердца.

Поэзия и проза

Виснут памяти сны-Сенбернары немь.
Мы,
Величество Тьмы –
петли дверцы
церебральных ангин,
генофондами льдин
дней,
штурмующих ночи,
чьих-то пышных перин,
ниспровергнутых в Рим –
злей и жёстче.

[115]

Гардемарин – (фр. морская стража, морская гвардия) звание в
российском императорском флоте.

Сенбернар – (фр.) порода собак.

Церебральный – (лат.) мозговой, относящийся к головному мозгу.

Генофонд (англ.) – понятие из популяционной генетики,
описывающее совокупность всех генных вариаций определённой
популяции, вида.

А ЖИЛ ЛИ?

Рассохлось до скрипа натянутых жил,
А жил ли?
Расшнуровались поджилки и пыл
Сухожилий.

Железо, черствея, с течением лет –
Ржавеет!
А чувства сгибаясь под бременем бед –
Вдовеют!
Правее! Правее! Правее! И вдруг –
Левее!
Мечтаешь, надеешься, любишь, а друг –
Мелеет!
Мелькают как брызги дела и года –
Всё чаще.
Но если оглянешься, сзади, судьба –
Как чаща.

ВЧЕРА

Я подумал ВЧЕРА, о том, СЕГОДНЯ, в котором я вспомню о том,
ВЧЕРА,
где ГРЯДУЩЕЕ будет терзаться ПРОШЛЫМ, как терзались
БУДУЩИМ все ВЧЕРА.

[116]

Д и П / 2017

ВЕНЕЦИАНСКИЙ СОН

О сладкогубое утро крутобёдрого дня дебелий дородности,
разметавшееся в пышнотелых перинах душистого спросонья!

Быстро-сентиментально мы спрыгиваем с борта гондолы.
У тебя мохнатая синяя муфта и розовые легинсы на
восхитительных бёдрах,
а твой кокетливый смех, серебристыми обручами казуальных
размеров
весело подпрыгивает по граниту набережной, в унисон
покачивающимся фёрро.

– «Весёлый Роджер» Вам в спину! – произношу, вслед
дрейфующим венецианцам
я, огромный, как трёхэтажный гвардеец кардинала, и
подхватываю на руки тебя, пушистую, в триста тринадцать
одуванчиков, овеваемых косым бризом дворца Дожей.

*Казуальный – случайный, совершающийся в зависимости от случая.
Фёрро – (итал. ferro) высокое, железное украшение, устанавливаемое
на носу гондолы, в виде гребня из шести полос по числу районов города
и одной дополнительной полосы, символизирующей остров Джудека.
Весёлый Роджер – (англ. Jolly Roger) пиратский чёрный флаг с черепом
и костями человека.*

ОБЕД «НА ШАРУ»

*«Нет рецептов радости –
есть умение её создавать».*

Сразу хочу предупредить, что читать этот рассказ желательно на сытый желудок, предварительно «впихнув» в себя всё, что может войти в утробу, потому что речь пойдёт о чуде, в которое, расскажи мне кто другой, я и сам бы не поверил, не случись это с моим другом Витькой. Но... всё по порядку.

Где-то я прочитал, что «...голод является источником наслаждения в той же мере, в какой эстетическая потребность или вождление позволяют нам чувствовать себя счастливыми, как в музее или в постели, и что голод нужно оберегать так же трепетно, как любовь к женщине или к животным...».

Даже если я и соглашусь с этой сентенцией, что маловероятно, то определённо могу сказать, что от голода умерло несравненно больше людей, чем от любви, тем более от любви к животным. Как говорил один индус: «корова – животное священное, но вкусное».

И тут Витька рассказал мне случившуюся с ним в далёкие хрущёвские времена историю, ради которой я и решился по его просьбе на написание этого рассказа.

Произошла она в заштатном шахтёрском городишке в Луганской области, больше похожем на посёлок, куда после вуза Витька попал по распределению. Грязный, покрытый серой пылью, городок производил удручающее впечатление. Угольные шахты, разбросанные вокруг посёлка, выплёвывали после рабочей смены из своего чрева разношёрстную, чумазую толпу людей, которая, не имея альтернати-

вы, сразу отправлялась в гастроном, чтобы нагрузиться «горючим». Там же покупалась кое-какая закуска и... начиналась вторая смена. Люди, казалось, живут здесь в каком-то временном круговороте: сначала отработывают смену, потом пьянствуют, или наоборот: сначала пьянствуют, потом идут вкалывать.

После нескольких дней пребывания Витька с ужасом обнаружил, что у него закончились деньги. Знакомыми, у которых можно было занять пару рублей, он обзавестись ещё не успел, и по причине врождённой стеснительности его ждала почти голодная смерть. Как говорил мой дедушка: «Сами деньги – это ещё не зло. Зло – это когда они заканчиваются».

Ситуация, казалось, безвыходная. Он слонялся по посёлку, без всякой надежды на чудо, прекрасно понимая, что Советская власть своим декретом чудеса отменила давно и бесповоротно.

Неожиданно он набрёл на здание, над входом которого красовалась вывеска на украинском языке: «Идальня». Не нужно обладать знанием украинского языка, чтобы понять, что в этом доме должно быть много еды.

Витька попробовал логично выстроить свои мысли: «Ну, хорошо! Время хрущёвское, а это значит, что в рабочих столовых на столах должен лежать бесплатно хлеб, горчица, соль, следовательно, можно этим благом воспользоваться».

Как говорится, победителей не «садят». Впечатлённый своей логикой, Виктор уверенно, чуть ли не ногой, открыл дверь столовой. Каково же было его удивление, когда он не увидел на столах ни хлеба, ни горчицы, ни даже воды, но показалось весьма странным, что посетители столовой ставили на подносы тарелки с едой, но у кассы никто не платил. Такого в жизни он ещё не видывал. Коммунизм вроде не наступил, поскольку советские люди, как утверждал Хрущёв, в то время только поднялись на ту вершину, из которой он был виден, и Витьке было непонятно, глядя с этой вершины, что это за заведение такое и куда он попал?

Начал соображать и, в конце концов, пришёл к заключению, что если «ЧТО», то скажу: «Так, мол, и так, деньги забыл дома, потом рассчитаюсь – ну не убьют же за это и в тюрьму тоже не посадят. Так украдут меньше! Попробую прикинуться придурком, – продолжал размышлять Витька, – правда, вид у меня интеллигентный и парень вроде «козырный», что никак не подходило к придурку, однако относительно лёгкая придурковатость может сделать меня практически неуязвимым».

Окинув кассиршу изучающим взглядом, он решил чисто визуально определить её характер на предмет будущего скандала. Ничего особенного в ней не было: молодящаяся, в меру упитанная блондинка с равнодушным лицом, в накрахмаленной наколке на волосах, отбеленных, видимо, перекисью водорода, в таком же белом миниатюрном передничке. Ярко-красная помада выходила за границы бантика губ. Короче – типичная совковая буфетчица.

Переборов нерешительность, Витька сделал полный выдох, взял поднос и стал в очередь, правда, пока дошёл до кассы, успел по дороге «запихнуть» в себя какое-то безвкусное заливное и салат – так, на всякий случай. На подносе в окружении гостовской котлеты, компота и хлеба он торжественно поставил тарелку бесцветного, видимо вчерашнего, борща, – традиционный обед среднестатистического холостяка, не претендующего на изысканность. Чем ближе он подходил к кассе, тем больше ощущал противное прилипание сорочки к телу, а покрасневшее лицо выдавало потенциального преступника. Уже непосредственно у кассы Витька открыл было рот, чтобы произнести заготовленную тираду, как кассирша, даже не взглянув в его сторону, с оттенком мягкой грубости пробурчала:

– Фамилия?

– Мищенко, – мгновенно отреагировал он.

Сверившись со своим списком, она аккуратно поставила галочку и выдавила из себя:

– Проходи!

Затем мельком взглянула на Витьку, «развязала» бантик на губах, обнажив золотую коронку, и задержала на нём чуть дольше обычного томный взгляд незамужней женщины.

О, Боже милостивый! Мир действительно принадлежит оптимистам, где остальным уготовлена лишь роль зрителей! У Витьки ведь никогда в жизни не было ни одного знакомого с такой фамилией. Как и откуда ОН вложил ему в уста именно эту фамилию, а не другую? И Витька поверил в ЕГО могущество, ещё до конца не осознавая трагичность ситуации, когда появится этот самый Мищенко, а то, что он появится, сомнений не было. Ему, естественно, покажут на этого голодного интеллигента, и что будет дальше, никто не возьмётся предугадать, однако не очень хотелось бы попасться ему на глаза.

Довольный неожиданной удачей, Витька быстро доел халявный обед и, не оборачиваясь, покинул заведение, оказавшееся, как позже он узнал, обыкновенной столовой для учащихся местного ПТУ.

Когда через много лет Витька случайно попал в этот городок, то обнаружил, что столовой этой уже давно нет, а в её помещении обосновалось кафе с одиозным названием «ГУБЕРНИЯ»! За эти годы здесь мало что изменилось: кассирша и подносы, правда, исчезли, однако в меню особого разнообразия не наблюдалось.

Было обеденное время, и кафе было заполнено почти до отказа. Витька стал искать свободное место. Он не был голоден, ему просто хотелось вернуться в свою молодость. Взгляд упал на угловой столик, за которым в одиночестве сидел огромный детина, своей комплекцией, не оставив почти никому шанса на место рядом. Витька даже успел мысленно окрестить его «Гаргантюа». В компании с опорожнённой до половины бутылкой водки тот лениво что-то ковырял вилкой в тарелке. Витька вежливо попросил разрешение присесть, и Гаргантюа, не отрывая глаз от своей тарелки, не очень охотно кивнул. Через некоторое время официантка принесла заказ, и Витька, предварительно протерев носовым платком алюминиевую вилку, оставшуюся, видимо, с прежних времён, без особого аппетита принялся за еду.

Наконец, Гаргантюа поднял голову, окинул Витьку осоловевшим взглядом и, словно угадав в нём потенциального собутыльника, неожиданно предложил с ним выпить. Отказываться было как-то не с руки, и Витька взял в руки протянутый гранёный стакан. Чокнулись, выпили и молча стали закусывать, думая каждый о своём. Выпили ещё и через несколько минут уже порядком захмелевший Гаргантюа поинтересовался у Витьки, кто он и откуда, поскольку за много лет почти всех посетителей знает в лицо, но его в этом кафе никогда не встречал. Разомлев от спиртного, Витька откинулся на спинку стула и стал рассказывать историю знакомства с этим помещением. Гаргантюа рассеянно слушал, но вдруг его лицо изменилось, и вилка с куском мяса застыла у рта. Не дожидаясь окончания рассказа, он вдруг вскочил и радостно, словно встретил старого друга, раскрыл руки для объятий и с криком бросился к Витьке, перепугав посетителей кафе:

– Так я же и есть тот самый Мищенко!

На радостях он разлил оставшуюся водку и так же громко стал рассказывать, что тогда произошло в столовой:

– Представляешь, накладываю на поднос свой обед, подхожу к кассе, а эта белобрысая мымра мне говорит, что я, мол, уже пообедал, и что я наглец, и мне должно быть самому стыдно за моё нахальство. Ты не представляешь, какой я устроил скандал. Когда же, наконец,

разобрались, то стали тебя искать, но твой след уже давно простыл. Меня, конечно, покормили, причём, благодаря тебе, я даже получил двойную порцию. Поэтому зла на тебя не держал. Только скажи мне честно: как ты узнал мою фамилию?

КАК Я ДВУХ МЕНТОВ ОБМАНУЛ

[121]

Да, да, вы не ослышались! Эта история действительно имела место, но... в Израиле. Мне могут возразить, что это, мол, не типично и, по большому счёту, может быть просто байка. Сразу предупреждаю, что всё, о чём хочу рассказать – правда, от первого и до последнего слова.

Известно, что у каждой истории есть своя предыстория, и в данном случае она произошла за двадцать пять лет до этого, причём за несколько тысяч километров от Израиля, а точнее... в Тбилиси. Я тогда проходил службу в Советской Армии музыкантом военного оркестра и почти каждый вечер мы с товарищем повадились ходить в «самоволку», посещая грузинские и армянские погребки-забегаловки в районе Авлабара. От привилегированных собратьев они отличались дешевизной, вкуснятиной и, что для нас было очень важно, туда не заглядывали военные патрули. В некоторых погребках звучали народные грузинские мелодии в сопровождении музыкантов, и стоило лишь кому-то затянуть песню, как её мгновенно подхватывали посетители, зачастую даже незнакомые друг с другом, и погребок наполнялся многоголосием, оставляя в душе восхищение и гордость за этот народ.

В одном из таких погребков, слушая народную музыку, я заинтересовался техникой игры одного из музыкантов, играющего на инструменте, называемым «дудука», внешним видом похожем на свирель или примитивную флейту. Вряд ли найдётся более звучный народный инструмент, при помощи которого грузинский народ может выразить свои переживания. В многоголосии исполняемых песен музыкант надувал, словно кузнечные меха, щёки, выдувая звук, поражающий своей длительностью. Я никак не мог понять, как можно так долго выдувать звук и не дышать? Не могут же быть у человека такие огромные лёгкие? Присмотревшись более внимательно, я вдруг увидел, что в какой-то момент у музыканта происходит какое-то движение лицевых мышц, и... он вдыхает воздух, не прерывая, однако, зву-

чания инструмента. Как это он делает? Я зачаровано смотрел на него, пытаюсь разгадать незнакомую мне технику дыхания, а поскольку сам играл на родственном инструменте, то твёрдо решил этому научиться. Дождавшись, когда у музыкантов был перерыв, подошёл к дудукисту, и спросил, как ему это удаётся? Мельком взглянув на эмблемы моих погон, он расспросил, откуда я, на каком инструменте играю, потом вдруг заявил, что пока я с ним не выпью вина, разговора не получится. Он пригласил за стол моего товарища, и только тогда, когда после многочисленных тостов мы влили в себя по литру вина, выдал секрет «дыхалки» и даже показал, как это делается, но предупредил, что сразу не получится, так как это дело требует тренировки. Чтобы не надоедать читателю рассказом о моих тренировках, сразу скажу: получилось! Правда, на Кавказе этим никого не удивишь, но, демобилизовавшись, часто удивлял многих музыкантов объёмом, как им казалось, моих огромных лёгких, выигрывая пари у рослых коллег, а когда со временем уехал в Израиль, то там тоже пришлось кое-кого удивить. Произошло это так: как-то мой товарищ устраивал большой банкет по случаю юбилея своей жены. Был накрыт обильный стол, было много музыки, веселья. Я впервые за много лет влил в себя большую порцию алкоголя и позднее ночью еле «дополз» до своего автомобиля. Но только я отъехал от ресторана, как меня остановила полицейская машина и предо мной возникли два мента, которые уже ждали очередную жертву, зная, что гуляют «русские» и будет много работы. Проверили документы на машину, водительские права. Один из них, видимо старший, вдруг унюхал запах алкоголя, исходящий от меня.

- Пил? – задал он естественный вопрос.
- Да нет, как можно – был ответ.
- Как же нет, когда от тебя пахнет?

В разговор робко вмешался второй мент:

– Ну как может человек пить, зная, что должен сесть за руль? – эту наивность, конечно, можно ему простить, так как он, вероятно, ещё не был знаком с ментальностью русского человека.

Не отвечая на его реплику, старший протянул мне трубочку.

– Подуй! – Я подул. Трубочка была абсолютно чистая.

– Не может этого быть, – сам себе заметил он, доставая вторую трубочку. Вторая трубочка показала тот же результат. Мент снял фуражку, вытер салфеткой вспотевший лоб, долго смотрел на меня, о чём-то думая, затем снова принялся и пошёл к своей машине. Начало светать. Он покопался в багажнике и притащил оттуда пластиковый

стакан с водой и тонкий резиновый шланг. Достал новую трубочку, надел на неё шланг, а второй конец опустил в стакан. Ухмыляясь, попросил ещё раз подуть, но так, чтобы он видел выходящие из воды пузырьки воздуха. Можете уже смеяться – трубочка оказалась чистой.

– Первый раз в жизни такое вижу, – пробормотал он и, не имея против меня никаких улик, вернул документы и пожелал счастливого пути. Глядя в зеркало заднего вида, я ещё некоторое время наблюдал, как он тоскливо смотрел мне вслед, пока не исчез в утреннем свете.

[123]

А ларчик открывался просто: я применил искусство дудукиста, когда часть вдыхаемого воздуха шла про запас в щёки. Остальная часть вдыхаемого воздуха шла в лёгкие и в момент, когда вдыхал очередную порцию воздуха, я одновременно сжимал щёки и этот запас чистого защекового воздуха, минуя лёгкие, шёл прямым в трубочку. Вот такой вот непрерывный воздухопровод. Если бы мент догадался открыть дверь кабины, я бы вывалился, как мешок с дерьмом. Такая вот история произошла со мной в Израиле, где я сумел обмануть сразу двух ментов. Так что, дорогие мои читатели – учитесь! Знания много места не занимают, и нико не знает, когда они в жизни могут пригодиться.

Д и П / 2017

САКВОЯЖ ДЛЯ АВТОНОМИИ

Вы когда-нибудь держали в руках миллион долларов? Нет? А вот Мендель Соловей держал. Нет, они ему не принадлежали, иначе сидел бы он тихо где-нибудь в Аргентине в белых штанах, попивая холодное пиво, и вы никогда бы не узнали, как эти доллары оказались у него в руках. А речь идёт о том времени, когда Западный берег реки Иордан управлялся Израилем, жители которого ещё сегодня тоскуют по тем временам, и Мендель, тогда ещё молодой человек богатырского телосложения, проходил армейские сборы (милуим). Гимнастёрка неряшливо сидела на нём, а брюки по тогдашней военной моде были явно коротки в поясе, и когда он нагибался, то линия, делящая его «корму» на две части, обнажалась до половины длины и представляла перед окружающими во всей своей красе. Но он этого не стеснялся и говорил, что каждый смотрит на то, что ему нравится. Беспечно бродя по расположению военной базы, он постоянно насвистывал различные мелодии, за что получил среди русскоязычных военнослужащих кличку «соловей-разбойник».

Поэзия и проза

На этот раз местом службы резервистам был определён мост через реку Иордан, который связывал сегодняшнюю палестинскую автономию с Иорданией. Место относительно спокойное, и за время службы, а это конец 70-х, инцидентов, заслуживающих внимание, там не происходило. Население было в основном боязливо-законопослушным и свободно передвигалось по всей территории Израиля, а резервисты почти каждый вечер без опаски посещали вкусные арабские рестораны в Иерихоне, где за минимальную плату получали максимум удовольствия.

Служба заключалась в проверке непрерывного потока жителей автономии, пересекающих границу Израиля из Иордании с целью нахождения взрывателей – устройств, без которых подрыв основного заряда невозможен. Взрыватель представлял собой нечто вроде маленького капсуля, который можно легко спрятать и провезти даже в авторучке. Поэтому конфискации подлежали авторучки, зажигалки, и другие предметы, которые могли использовать для провоза. Бывало, что находили. Тогда этого «шлимазела» передавали соответствующей службе, где не особенно хорошо понимали юмор, но зато хорошо знали своё дело и из него «выжимали» всё, что он знал.

Резервисты прослушали инструктаж, в котором подробно рассказывалось о мешках, перевозящих крупные суммы денег, о потаённых местах, где можно спрятать взрыватели, но при этом особо подчёркивалось вежливое обращение и, не дай Бог, без личных эмоций и рукоприкладства. После окончания смены весь конфискат, а среди него были дорогие авторучки, зажигалки «дюпон», «картье» и т.д., в присутствии офицера сжигался. Взять себе что-нибудь из этой кучи строго воспрещалось. Проверяющий был при оружии и снабжён металлоискателем. Проверка производилась в отдельном боксе, где из мебели был только небольшой столик, стул и кнопка аварийного звонка. Аборигену в вежливой форме предлагали снять верхнюю одежду, которую тщательно осматривали. Подлежали осмотру также его багаж и личные вещи. Если ничего запрещённого не находили, то ставилась отметка, и араб проходил далее, согласно обходному листу.

В один из дней к Менделю в бокс заходит среднего возраста араб в традиционной одежде с чёрным «игулем» (кольцом) на головном уборе, что говорило о том, что он совершил «хадж» (паломничество) в Мекку. Араб поставил на пол дорожную кожаную сумку, и, устало опустившись на стул, протянул Менделю декларацию. Для таких случаев Мендель выучил несколько основных фраз по-арабски. Не обращая внимания на декларацию, он попросил снять одежду. Тот разделся. Мендель проверил: всё в порядке, ничего не обнаружил и принялся за личные вещи. Попросил открыть саквояж. Заметно волнуясь, араб

дольше обычного копался с замком и когда, наконец, открыл, Мендель потерял дар речи: огромная сумка до отказа была набита долларами. Такого количества американских президентов в одном «букете» он никогда в жизни не видел, и это ввело его в состояние шока: его язык присох к нёбу, слюна застряла в горле. Он тупо смотрел на кучу чужого счастья, не имея сил произнести ни слова. Наконец, пришёл в себя и бросил взгляд на декларацию: там действительно стояла заявленная цифра: 1 500 000. Теперь ему предстояло проверить все 150 пачек. А вдруг одному из президентов захотелось спрятать у себя именно то, ради чего он здесь находится?

Дрожаящими от волнения руками Мендель взял в руку первую пачку, но тут араб, каким-то образом вычислив его по акценту, обратился к нему на довольно сносном русском языке, пояснив, что некоторое время учился в Минске. Сам же он живёт в Шхеме, содержит там маленькую контору, откуда в Иорданию вывозит динары, обменивает их на доллары и ввозит назад в автономию. Менделю показалось подозрительной словоохотливость араба. Мало того, он ещё без разрешения вытряхнул содержимое саквояжа на стол, отбросив его в сторону. Вытирая обильно выступивший пот, Мендель проверил металлоискателем всех 1500 000 президентов-близнецов, своим выражением глаз, явно подвигающих его к искушению, но решил не портить себе нервы «через его дурные мысли за деньги». Ничего не обнаружив, он хотел уже разрешить упаковать деньги, как какое-то шестое чувство подсказало ему, что нужно проверить сам саквояж. Араб чуть побледнел, стал рассказывать какие-то истории из минской жизни, явно отвлекая Митьку пустыми разговорами от чего-то важного, т.е. тот самый случай, о котором предупреждали на инструктаже. Араб быстро схватил саквояж и стал бросать в него пачки долларов, уверяя, что очень спешит и его ждёт такси, а это очень для него дорого и т.д. Началась игра в «перетягивание каната», точнее – саквояжа. Мешая арабские и русские ругательства, он сильно толкнул Менделя и протянул руку к автомату. Ударом кулака соловей-разбойник свалил араба и вызвал дежурного капитана. Тот посмотрел на кучу денег, на залитое кровью лицо араба и, в свою очередь, позвал охрану. При проверке в нижнем правом углу саквояж зазвенел. Капитан надрезал подкладку и извлёк несколько взрывателей, завёрнутых в вату. Лицо араба перекошилось. Он стал лепетать, что понятия не имеет, что это такое и что саквояж вместе с деньгами ему вручили в банке. Деньги пересчитали, аккуратно сложили, и араб в сопровождении охраны понуро покинул бокс. Мендель чувствовал себя героем, явно рассчитывая на поощрение, сослуживцы его поздравляли, но через некоторое время офицер военной полиции «обрадовал» его, сообщив, что

араб по факту избиения подал официальную жалобу. Как вам нравится такой поворот? Мендель пытался объяснить, как было дело, но офицер пояснил, что поскольку есть жалоба, то он обязан дать ей ход. Вскоре из Шхема прибыла полицейская машина – ему вежливо «предложили» покататься. Его командир, лейтенант, возмущаясь, отстаивал его невиновность, поскольку он был при исполнении, но бесполезно: менты – везде менты, и вместо дополнительного отпуска в качестве «заслуженной награды» «соловей-разбойник» получил возможность бесплатно прокатиться в полицейской машине с мигалкой и сиреной. Можете представить удивление Менделя, когда его привезли в схемскую тюрьму и впихнули в одиночную камеру вместе с автоматом. Жаль, что он позже не подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку о таком неординарном случае никто никогда не слыхивал, и «соловей-разбойник», возможно, был бы первым в истории человеком, помещённым в тюремную камеру с боевым оружием.

Прошло время, начало смеркаться, но им никто не интересовался, и от скуки насвистывая «Мурку», он стал без интереса рассматривать нацарапанные арабской вязью надписи на шероховатых стенах камеры. Одна, обнаруженная им в уголке, была на родном языке, где некий Бенчик, трёхэтажным матом проклинаящий и арабов, и евреев, посвятил массу дворовых эпитетов убежавшей от него к богатому арабу какой-то Таньке, из-за которой он и попал сюда, отомстив то ли арабу, то ли самой Таньке.

Чтение настенного шедевра прервал лязг замка, и в проёме двери возник мент с ужином. От всего пережитого кушать не хотелось, но чай уставший Мендель охотно выпил и уснул на голом матрасе в обнимку с автоматом и неизвестностью.

Утром принесли довольно сносный завтрак, и снова тишина. Только к обеду двери каземата распахнулись, и он увидел улыбающееся лицо своего командира. Он обрадовал Менделя тем, что всё позади, но суд по факту избиения всё же будет, и чтобы он не переживал, обещая со своей стороны всяческую поддержку. Через пару недель военные сборы закончились, и резервисты разъехались по домам, возвращаясь к своим проблемам.

Повестку в суд Мендель Соловей получил только через полгода. В зале суда он увидел «терпилу» в тюремной одежде с охраной, человек десять незнакомых военных, несколько арабов и лейтенанта, приветливо махнувшего ему рукой. Суд длился не более пятнадцати минут. Заслушали показания обеих сторон, и после непродолжительного совещания «соловей-разбойник» был оправдан. Первым его поздра-

вил командир, который все эти полгода боролся за своего солдата, не считаясь с тем, что проживал далеко на севере страны.

Что же касается судьбы менялы, то его приговорили к пяти годам заключения, поскольку он оказался активным членом террористической организации на Западном берегу, и эти доллары предназначались для финансирования террора. По приговору суда они были конфискованы и переданы для нужд Армии Обороны Израиля.

Больше на этом посту Менделю побывать не пришлось, да и самому не очень-то хотелось ещё раз иметь возможность провести ночь в тюрьме, даже с оружием.

[127]

Бронислава Фурманова

В НЕВОЛЕ

[128]

У эха незавидна доля –
Спокон веков живёт в неволе
И остаётся только эхом –
Повтором, отголоском смеха,

Чьего-то стона, песни, крика.
Всё повторяет горемыка –
То ухаёт вслед за совою,
То волком одиноким воет,

А иногда вздыхает тяжело...
Обидно, ведь оно, бедняжка,
Не вправе собственного звука
Произнести. Какая мука!

Одно лишь эхо утешает,
Престиж немного повышает,
Хоть вторит возгласам другого,
Его последним будет слово.

Ему кричу я: «Что за дело,
Такая жизнь не надоела?
Быть подневольным – это скверно!»
И эхо отвечает: «Верно!»

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Ты приходишь нежданно-негаданно,
Не бывает тебе кто-то рад,
От тебя веет запахом ладана,
Ты с собою несёшь боль утрат.

Ты – тяжёлое заболевание,
Ты – кромешный прижизненный ад,

Иль, возможно, судьбы наказание,
Словно крест, на котором распят.

Днём и ночью, не зная усталости,
Молчаливым присутствием лишь
Обречённые жертвы, без жалости,
Без суда, хладнокровно казнишь.

Словно преданный пёс за хозяином,
Норовишь по пятам ковылять,
И не ведаешь ты, как отчаянно,
Все мечтают тебя потерять.

Извини, что на ты, и без отчества
Обращаюсь к тебе, одиночество.

НЕЛЬЗЯ ЛИШЬ МНЕ...

Противоречие сплошное:
Разлад меж небом и землёю,
У смерти с жизнью вечный спор,
Подъёму спуск наперекор,

Спор меж теорией и фактом,
У грубости размолвка с тактом,
Грязь конфликтует с чистотой,
Реальность не в ладах с мечтой,

Спор меж восходом и закатом,
И между медяком и золотом,
Со счастьем горе на ножах,
И смелость презирует страх,
Защита вздорит с нападением,
Грызутся вечность и мгновенье,
Бранятся злость и доброта,
Размеренность и суета...

Нельзя лишь только мне одной,
Поспорить с собственной судьбой.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Принимать препараты судьба прописала,
Только дозу приёма их не указала...

Хоть дала бы она мне инструкцию, что ли,
Чтоб узнала я, как принимать
Жизни терпкий настой, и эмульсию боли,
Чем пилюли тоски запивать?

[130]

Д и П / 2017

Сколько в чашу добавить мне капель терпенья,
Чтобы их не пролить через край,
Сколько раз надо в день пить таблетки сомненья,
Как заваривать трудностей чай?

А микстуру хандры, раздраженья, унынья
Выпивать до иль после еды?
В страха липкий отвар, с горьким вкусом полыни,
Добавлять порошок суеты?

Принимать лучше на ночь тревоги лекарство,
А с утра беспокойства драже?
Не оставит побочных явлений коварство
Незалеченных шрамов в душе?

Я ждала с нетерпеньем любого совета,
Но вопросы остались, увы, без ответа...

КОЛОДЕЦ СЧАСТЬЯ

Светаёт. Стрелки срок мотают,
По циферблату семена,
В тиши виденья возникают,
За тридевять земель маня.

Тону я, в грёзы окунаясь:
Стоит июльская жара,
Кружится, весело плескаясь,
Вокруг колодца детвора.

Поэзия и проза

И я бегу, с ковшом, босая,
И лет мне – минус пятьдесят,
Визжим, друг друга обливая,
Промокнув с головы до пят.

На грязных рожицах – беспечность,
И радость в озорных глазах,
Казалось нам, что будет вечно
То счастье... Но теперь лишь в снах,

[131]

Когда от жажды я страдаю,
К колодцу мысленно бегу,
И счастье ковшиком черпаю,
И всё напиться не могу.

ЖИВЁТ В СТИХАХ

Все чудеса, что ловит взгляд,
Мне строки новые сулят.
Узор замёрзших стёкол в стужу,
Снежок, что надо мною кружит,
Рисунок пенных облаков
Вплетаю я в венок из слов.

Коровку божью на травинке,
И лета пёстрые картинки,
Полей весенних разноцветье
Ловлю я стихотворной сетью.
Опавших листьев кутерьма
Мне шепчет нужные слова.

То, что сейчас в душе звучит,
В стихи пробраться норовит,
А завтра порастёт быльём,
Но будет жить в стихе моём.

ВОПЛОЩЁННАЯ МЕЧТА

Мечтою скульптор одержим
И страсть берёт его измором,
Перед его горящим взором
Та, кем желает быть любим.

[132]

Боясь видение спугнуть,
Создатель с нежностью, умело
Из камня вызволяет тело,
И округляет бёдра, грудь...

Движенья точные резца
Из мрамора высвобождают
Волну кудрей, что обрамляют
Овал прекрасного лица.

Ваяет день и ночь, пока
Не замирает, потрясённый –
Её глаза глядят смущённо
И тянется к нему рука.

И мастер к статуе нагой
Прильнул пылающей щекой...

УТРО-БРЮЗГА

Забрезжило утро – понять не могу –
Иль снова брызжит? Я к нему не готова.
В объятиях сна оказаться бы снова,
Хоть даже во сне я куда-то бегу.

Ждёт хлопотный день и его суета,
На холод не хочется с тёплой постели,
И эти дождливые дни надоели,
Я сыростью этой по горло сыта!

Не хочется дела иметь с суетой,
Куда-то спешить, обгоняя события,
Возможно, смогу о проблемах забыть я
И вымолить чудо у жизни скупой?

Я этими мыслями время тяну,
Забрать у рутины себя я пытаюсь,
Но вот, как шальная, с кровати срываюсь –
Будильник, и тот, объявил мне войну.

ТАК ХОЧЕТСЯ ВЕСНЫ!

[133]

Начало марта, серый день дождит,
Зима прощается. И ветер в спину
Ей что-то шепчет, словно бы ворчит:
«Тебе владения пора покинуть».

Мне кажется, простужен целый мир.
Дни слякотные тянутся уныло,
Ты, серая злодейка, как вампир,
Вцепилась и высасываешь силы.

Довольно! Я сыта тобой сполна,
Из плена солнце выпусти скорее.
Хочу весны! Она мне так нужна –
Тоску мою щемящую развеять.

И вот – за горизонтом даль ясна,
Меняет небо постепенно краски,
И девочка по имени Весна
Приоткрывает заспанные глазки.

НОЧНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ

Как хорошо среди ночи помечтать
И осознать, какое это счастье,
Что я могу на чистоту листа
Излить своё душевное ненастье.

В бессвязных мыслях разберусь потом,
Я не слежу за ритма совпаденьем,
Сейчас я в измерении другом,
Рукой моею водит откровенье.

Очнусь, а за окном уже рассвет,
Усталые глаза глядят на строки:
Хромает ритм, удачной рифмы нет,
И даже лист от созданного в шоке!

Чтоб строки стали чётки и легки,
Подправлю смысл, подгоню я рифмы,
Легко сотру движением руки
Эмоции, чтоб не сбивали ритмы –

[134]

Всё в рамках стихотворного искусства.
Но вот беда, куда пропали чувства?

НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ

Желая разогнать свою тоску,
Хотела я отвлечься в интернете,
Но, как наган приставленный к виску,
Там лишь террор, болезни, гибнут дети...

День близится к концу, а у меня
Упадок сил, плохое настроенье,
Компьютер выключаю я, кляня
Все СМИ и тягостные сообщенья.

Сажусь я поудобней на диван,
С надеждой подключаю телевизор,
А там – стрельба, убийства, смерть от ран
И прочие кровавые «сюрпризы»:
Разбился пассажирский самолёт,
Взрыв смертника, пожары и цунами,
Кому-то кто-то вновь угрозы шлёт,
Мир горем переполнен и слезами.

Нет, больше не могу – мозги кипят,
На свежую переключусь газету.
И здесь: боевики, терактов ряд,
И вновь в висок мне дуло пистолета.

Краснеет, раскаляясь, телефон,
Охрип приёмник, новости вещая,

И за окном, всем бедам в унисон,
Кружа, раскаркалась воронья стая.

Хочу забыться, скрыться от тоски,
Возможно мне проведать холодильник?
Пойду-ка лучше сочинять стихи.
Спасибо, СМИ, что тему породили!

[135]

О ЧЁМ МНЕ ШЕПЧЕТ НОЧЬ?

Тихо шепчет о чём-то ночь,
Нежно-нежно целует веки,
Словно силится мне помочь
Не терзаться тоской вовеки,

Не лететь еженощно в снах
Через страны, моря и горы
Вновь туда, где в других мирах
Тихо дремлет любимый город,

Где душа и сердце живут,
Как и прежде, в родимом доме,
Обретя покой и уют,
Замирают сладко в истоме.

Мне никто не в силах помочь
Позабыть о прошлом вовеки.
Не об этом ли шепчет ночь,
Нежно-нежно целуя веки?

БРОДИЛА ОСЕНЬ...

По переулкам бродила осень,
Смела, игрива, – огонь-девчонка,
Влюблённый ветер трепал ей косы,
Она ответно смеялась звонко.

Стелила наземь плед листопада,
Себя по листику раздевая,

И не скупясь, раздавала злато,
Пока осталась совсем нагая.

Бродила осень, шурша дождями,
Косые взгляды людей ловила,
Прикрытых вымокшими зонтами.
Ей было грустно в толпе унылой.

[136]

С мольбертом, кистью, набором красок
Художник-осень бралась за дело
И создавала пейзажи сказок
В садах, и в парках, и в серых скверах.

Любуясь собственным отраженьем
В прозрачных лужах, она невинно,
От удовольствия и смущенья,
Краснела ягодами рябины.

По переулкам бродила осень...
&

СТРАСТИ ПО «БУКЕР-у»

(Из цикла «Тайны книгоиздания»)

Книгоиздательство «Holms & Watson» проводит кастинг авторов, имеющих опыт в разработке и раскрытии социально – экономических нарушений отечественных и зарубежных законодательств.

Прошедшим кастинг гарантируется предоплата и высокие гонорары за изданные книги.

Корпоративная тусовка по случаю выхода моей первой книжки «Так чем же пахли фиалки?», комического детектива для скучающих взрослых, проходила на даче моего неофициального соавтора Генки Шприцева... Называть дачей однокомнатный садовый домик было неприлично. Набившаяся в домик куча приятелей и приятельниц, немеренное число бутылок всякого спиртного, крепкого и не очень, хорошее настроение и не менее хорошая сентябрьская погода, плюс отсутствие слева, справа и позади садового участка соседей, обычно публично осуждающих наши попойки с музыкой, фейерверками и хоровым пением на десять-двенадцать голосов во всех регистрах, – всё влекло к любви и дружбе навеки... Разъехались вовремя, успев на первую, утреннюю, электричку...

Оставшиеся от кучки авторских экземпляров пять-шесть книжек приятно оттягивали левую руку, пока я правой пытался втолкнуть ключ в дверной замок моей малокомнатной квартирки.

«Какой идиот не вырубил до сих пор свет в коридоре? – подумал я и быстро сообразил, – кроме меня другого идиота в моём доме почти и не бывало (подруг я давно не держу за идиоток).

Эти инопланетянки знают своё бабье дело досконально... На полу, у двери, лежали какие-то цветные рекламки.

Бережно опустив на пол сумку с книжками с неплотно закрытой бутылкой «Мартеля» – прощальным подарком Генки, я стал машинально читать одну из листовок: «Холмс и Ватсон». «Надо же, я уже стал известен в книгоиздательских кругах страны?»

Но возникшая вторая мысль, или третья, оказалась более трезвой и прагматичной: «А как эти рекламки попали внутрь без меня?» Оглядевшись, я всё понял... По квартире бодрым маршем прошли смерч «Иванушка» и самум «28-3К», специально «забежавшие» с акваторий Индийского и Атлантического океанов... Только в ванной, слава Богу, всё было на своих местах – щупальцы стихий сюда поленились заглянуть. Вернувшись в комнату, я вновь захотел обратно: Больно было озирать беспредел, кем-то совершённый.

Глумясь, это *некто* опрокинуло на пол всё содержимое книжных полок, приподняло всё кроватное и диванное хозяйство, сбросило всё, висевшее в гардеробе, с таким ненавистным старанием, только позавчера аккуратно мною уложенное на бельевые полки...

Бельё и одежда были в кучах и кучках или разбросаны в россыпь по всем комнатам. Слава Богу, что комнат в квартире не десять, а только две... Лишь какое-то чудо помешало этому злодею облить моё добро бензином, затем сжечь, чтобы запрянуть отпечатки щупалец...

Я осматривал своё несчастье, не рискуя шагнуть внутрь этого Содома... Но тут зазвонил телефон!

– Слушаю!

– Уважаемый Автор! У ваших дверей вас ожидает приятный и не единственный сюрприз!

Открываю входную дверь. На полу – пакетик фиалок в изящной женской руке... Рука обнажена, вплоть до плеча... Далее почти ничего не видно... Словно густая вуаль, как облако, наглухо прикрывала неподвижное женское тело.

Я наклонился, пытаясь взять букетик и попытаться погладить обаятельные пальчики. Но, в отличие от вполне живого цветка, пальчики были холодны. Отвратительно, морозно, каменно твёрды...

Это было изваяние руки... Неживое... Но оно крепко сжимало, не позволяя вытащить из каменной хватки нежные, совершенно живые цветы. Вдруг «вуаль» распахнулась, и из этой явно театральной кулисы вышел крохонький мужчина. Не карлик, но не более полутора метров.

Он не улыбался, а смотрел на дверную авансцену очень сосредоточенно, как-бы отслеживая каждое моё движение... И полегоньку выдвигался из тени, держа нечто закутанное в тёмную шелковистую

ткань. «Не этот ли недомерок нашкодил в моём доме? Что он искал? И что этот «Артефакт» означает?» Я уже оставил «дамскую руку» в покое и осматривал букетик. От него веяло нежным ароматом. Совсем свежие фиалки! «Но на дворе – почти осень! Откуда эти несезонные цветы?»

– Вам, в самом деле, понравился аромат этих цветов? – услышал я шелестящий голос незнакомца.

Не отвечая, я явно неодобрительно наблюдал его приближение...

– Позвольте мне всё же представиться! – прошелестел незнакомец, протягивая ручонку... Не встретив никакого отклика, ни голосового, ни мимического, ни телесного, мужинка (на мужика он не тянул, на мужчину – не дотягивал) решил изъясниться более детально:

– Меня зовут Глен Ватсон, моё имя вы уже встретили на рекламке моего издательства.

Я, слегка кивнув, убрал с лица маску еле скрываемого недовольства, но не более.

– Я понимаю ваше раздражение, но мы так тщательно искали оригинал и черновые страницы вашего бестселлера, что до неприличия нарушили ваш собственный беспорядок...

Я помалкивал, недовольно вникая в это предисловие к деловому разговору (я уверил себя, что он начнётся с минуту на минуту).

– Но теперь в вашем хозяйстве порядок восстановлен. Взгляните сами, – и Глен Ватсон, как хозяин, вальяжно пригласил меня зайти в мою собственную квартиру. Я инстинктивно огляделся. Только шелковистый свёрток темнел у противоположной стенки лестничной клетки. Да изящная, каменно-фарфоровая, поделка белела невдалеке...

– Пожалуйста, входите...

– «Нет, вы – первый.

– Вы – хозяин, – с легчайшей иронией ответил новый знакомый.

Я широко раскрыл дверь и... замер... Идеальный гостиничный, порядок, скорее «лоск», был наведен по всему просматриваемому пространству... Именно пространству, в котором у каждой детали было своё место... Книжный шкаф, что виден прямо от двери – был плотно, не без изящества, упакован, и явно приглашал меня, и всех желающих потрогать каждый корешок моих раритетов...

Словно натурная иллюстрация к одному из моих давних стихотворений: «In Libris Среди Книг»:

И нет конца весёлым переменам / Перебирая кипу книг,

Я следую классическим манерам / К ним с детства я привык; их суть постиг.

Вначале – кожаных величье переплётгов; / В них двух столетий за-
таился шум...

Автограф Автора... Чернильные пометы... / Виньетки... Даты... Ис-
кромётный ум...

Златой обрез роскошного издания, / Тисненье... Филигранное
витьё...

Внутри штрихи гравюры: люди, зданья. / И шелестят листы... И
сердца колотё... Сентиментальный стиль, уже невозвратимый; /
Изящных буквиц – словно сад...

Их не читать – листать порою зимней; / Прижался к кафелю: и
каждой строчке рад...

И долгие часы в тиши и изумлени – / В чужих мирах, как свой,
плывёшь-живёшь...

И разум авторский нетленный, / Что сок берёзовый весною жадно
пьёшь...

Да, полчаса, если не меньше, прошло, пока я отвлекался на фиал-
ки, дамские ручки необычайной белизны и неизвестно откуда взяв-
шегося малорослого.

А сам «Издатель», как хозяин, критически рассматривал детальки
от «набега смерча», мне уже невидимые... Но затем, чуть вздохнув,
спросил меня:

– Ну что, хозяин? В доме всё в порядке?!

– И как же будем трактовать Ваше цирковое представление? – уже
более спокойно, но всё же иронично, дабы сохранить дистанцию в
отношениях между хозяином и гостем... (Who Is Who?)

Но «гость», быстро оглянувшись, произнёс:

– Я сейчас принесу «вещьдоки» с лестницы.

Мгновенно вернулся, держа тот самый, замеченный мною ранее,
«тряпичный» свёрток... По-свойски шагнул глубже, и найдя совершен-
но чистый обеденный стол, водрузил на него свёрток и начал его рас-
паковывать.

В свёртке были книги! Мои книги! Но в совершенно новой облож-
ке...

Точнее, в шмуцтитуле. Но каком! Глянцевое поле заселили новые
рисунки, повторяющие темы тех, что я привёл в самом конце своей
книги... И не все в цвете (для экономии, наверное...)

Теперь же изобилие моей фантазии было подкреплено щедрой
полиграфией.

«За это надо выпить!», – подумал я вслух. И голос мой был услы-
шан...

Из того же свёртка, как из самобранки, стали доставаться бутылки

и бутылочки, коробки и коробочки, появились и рюмочки с фужерчиками... Намечался деловой междусобойчик!

Марина Авербух

Посмертная публикация

[141]

ТАК ЧЕМ ЖЕ ПАХЛИ ФИАЛКИ?

(наброски к недописанному героиней роману)

После того, как мы с Коляном поселились, наконец-то, на Крымлёвке (строение 213 на восьмом, особо охраняемом, участке), я занялась благоустройством территории. Выделенного «поллимона» не хватило уже на стадии проекта: никто ещё из моих товаров не имел абсолютно прозрачной и абсолютно непробиваемой спецограды... Колян, после первой, закатанной мною, истерики махнул рукой и подписал новый чек. Я знала, в деталях, что я хотела иметь.

Бесцветные, прозрачные, слегка ограниченные через каждые десять метров мраморными столбами в стиле «римский ампир» с двуглавым, золочёным, патриотическим навершьем... Это вам не Летний Сад какой-то!

Изнутри стекло было слегка задекорировано, но только для того, чтобы все могли разглядеть всё цветочное великолепие, которое мне создаст японский дизайнер-гуру Токидо Квамо. Контракт с ним уже подписан и гуру прилетит с часу на час...

...Привезённые Токидой Квамой японские цветы хорошо, а, главное, быстро прижились на благодатной, вывезенной из той же Японии, почве...

На фуршет «Японская вишня» привалила не одна сотня знакомых и незнакомых ранее «друзей и почитателей»... Впервые Мастер разместил и цветы, и дорожки для любования ими по поверхности истинного иероглифа «Моя Мечта», написанного самим Мастером в традициях свободной каллиграфии...

...Но о чём же мечтал Токидо Квама, мы узнали лишь по окончании фуршета... «Наетые» японскими деликатесами, «нанюханые» японскими цветами гости разбежались лишь к утру, и именно утром, в

лучах «восходящего солнца», Гуру продемонстрировал нам – Колян и мне – своё Великое искусство...

Подводя нас поочерёдно к каждой из групп цветов – к вечно-цветущей сакуре, к нежно-розовой вишне, к хризантемам от снежно-белых тонов до цвета расплавленного утреннего солнца, к сложным гибридам с непроизносимыми после многочасового фуршета именами, он помогал нам услышать «особенные» запахи, доселе нигде и никому из нас неизвестные...

[142]

Не пройдя и половины Иероглифа, мы (я и Колян) вдруг почувствовали себя до неприличия нагими... Но это была нагота не прилюдная, вызывающая стыдобу и даже раздражение. Это была нагота и Тела, и Души...

Нам захотелось одновременно уйти и спрятаться... И остаться... И остаться навечно вдвоём, и чтоб было ВСЁ-ВСЁ-ВСЁ!

И при этом, абсолютное Счастье как будто укрыло нас от Мира, от дел и забот и даже от цветов... Всё исчезло, и всё осталось как бы за прозрачными стенами из голубоватого стекла... Сколько минут или часов прошло – не ведаю, только вдруг прозвучал какой-то полуавтоматический голос:

«Ваше время истекло. Кончайте разговор», – словно голос из старинного кинофильма «Золушка», и... всё сладкое исчезло...

А мы – опять у своих цветов и около нас – наш Токидо Квама...

По дороге к дому он стал что-то объяснять об особых целительных свойствах его цветника, но я, грешным делом, опять захотела в цветочный туман иллюзий и галлюцинаций... Уж больно это было и сладко, и красиво, и... Японисто!

НАРОЖДАЕТСЯ
СКАЗКА

Отдохнуть, на балкон,
После бальной горячки.
На отказ – лишь поклон
Неприступной гордячке.

Въелся в душу вальсок.
Раз-два-три, шаг за шагом.
Отдохнуть бы часок,
Но перо, будто шпага:

«Кот сидит на цепи...
– Неплохое начало. –
Дуб, Колдун, Голова,
Богатырская слава,

Карла – ключ золотой!
– Видно ты не петрушка,
Эх! Тряхнём стариной,
Ай да сукин сын – Пушкин!»

Терракотовый тракт.
Дилижансова тряска...
Деревень полумрак.
Нарождается сказка.

КРАЙША

1.

Ша, затишье, Крайша – слышишь
Крыши краше, сосны тише,
Чем в бурливом, серо-синем,
Чем в Берлине, чем в Берлине.

Может даже Крайши склоны
Краше Альп и краше Ниццы?
Может Крайша заграница?
За границей небосклона.

Может здесь и осень раньше?
И уже сидит на троне?
Край, краюха, кроха-Крайша
В яблонных посадках тонет.

Торопливо вьётся речка,
Нет не речка – ручеёчек...
За вопросом – много точек,
Ведь я с Крайшей не знакома.

2.

Оказалось Крайша – крик!
Оказалось Kreischa – Schrei!
Оказалось Крайша – край
Lieber Mensch und schöner Blick.*

Оказалось Крайша – Berg,
Холм холмистый за холмом.
Оказалось Крайша – бег
По утрам, там дом за дом,
Ствол за ствол и Wort за Wort
Образуют переплёт.

Оказалось Крайша – вот –
Поместилась в рук разлёт!
Отраженье облаков,
И задумчивость ручья.
Оказалось, что ничья
И под Дрезденом живёт.

СВЯЗЬ

Не птица, не рыба – полёт неземной,
Не женщина-идол, не Ангел ручной,
Не облако-небыль, не сон и не явь.
По белому – чёрным: иероглифа вязь.
Связь: мысли основы и взмаха руки!
Иероглифослово – в три знака – стихи!

[145]

БЕЛОЕ

У Блока цветы только белые
И синие небеса.
Незримые и несмелые,
Прозрачные голоса.
Что колокол стих его робкий.
У Блока глаза с поволокой,
Болезненно-белая кисть...
За Блока иди, помолись...

Белый воздух, зимний дух.
Белый иней, лёгкий пух.
Белый лист и белый стих.
Беглый выдох белостих.
Белолик, голубоок
В лунном серебрянье строк.
В чёрном небе Ангел пел,
В страшном небе –Ангел бел,
Словно лебедь. Видит Бог
Это – Александр Блок.

Бедный Александр Блок...
Беззаботно цвёл вьюнок
Белой точечкой
Колокольчатой.

Муза – не женщина, ангел скорее,
Не ест и не пьёт – поёт,
Что обитает в лунном хорее,
В рифмах живёт.

Муза – из рода летучих видений,
Лучшая – из.
Лёгкая и не имеет тени,
Да и не смотрит вниз.

Дружбу заводит с тем,
Кто вечно босой.
Кормит из хризантем
Нежной росой.

Так схожи Врубель, Блок,
Мятежны, нежны, странны.
Цвета картин и строк
Торжественно-туманны.
Тревожны и тихи
И лики и стихи.
Загадочны слова
И зачарован глас,
Да, жаль, что эта жизнь
Так рано пре-рва-лась....

У Блока цветы только белые...

ОДА СОЛНЦАМ

Пусть эта Осень
Зреет под символом Солнца!
Целая россыпь
В вазе на подоконце

Бархотноглазых, огненных
Рыжих светил.
Кто их, скажите,
В тайны светил посвятил?

Кто им доверил
Столько любви и огня?
Как они смотрят,
Как обожают меня!

Что же – взаимно,
Вам я признаюсь в любви.
Дайте ж в ладони
Дивные стебли свои.

Лист изумрудчат
Юн, напоён и пьянён.
Лист острозубчат –
Сердцем веков и времён.

[147]

Взгляд не отводим –
Смотрим – что глаз и что сил!
Как же заводит
Любевзаимность светил!

Милые Солнца!
Вы, только Вы, только Вы!
Гордый подсолнух,
Не опускай головы!

Пусть эта Осень
Будет под знаком цветка.
Солнечный отрок,
Вам моя страстность стиха!

* Kreischa – городок под Дрезденом,
Schrei – крик,
lieber Mensch – приятный человек,
schöner Blick – красивый вид,
Berg – гора, Wort – слово (нем.)

Алла Киселёва

ВАЛДАЙ

Подходил к концу год. На пороге стоял новый. Алёна любила это время, несмотря на холода, порой стужу, метель, необходимость кутаться в тёплые одежды, и опасность поскользнуться и что-нибудь сломать. Любила потому, что любила запах хвои и свет огоньков с недавно наряженной ели и еще любила коробочки подарков под новогодним деревом. Они словно говорили, что ты не одинока. Есть кому думать о тебе. И тебе есть. А это и есть счастье или почти счастье.

Ель стояла наготове, в парадном углу комнаты, стояла в ожидании игрушек-украшений. Алёна отправилась за ними, вернее распахнула дверцу шкафчика в коридоре, где они лежали, и на пол вывалилось с громким звоном нечто. «Разбила», – подумала Алёна и склонилась к упавшей коробке. Но к её удивлению и радости в коробке ничто не разбилось, да и разбиться не могло – ведь там лежали... колокольчики. Да, именно колокольчики. С Валдая. Три колокольчика – большой, поменьше и совсем маленький. Они были перевязаны, скреплены между собой белым изоляционным кабелем. И потому лежали в одной коробочке все вместе. Неразделимые. С того самого времени, когда папа Алёны соединил их этим кабелем, когда фабричное крепление сломалось и потерялось. Колокольчики были дороги как память, вот папа и соединил их. Да, эти колокольчики были памятни для Алёны. Человек всегда готов вспоминать что-то приятное снова и снова. Со временем память даже добавляет к радостному воспоминанию всё новые детали и подробности, оно становится всё прекрасней и прекрасней, всё значимее и значимее. Так было и в этом случае. Это была память о месте на севере, которое называлось Валдай. А вернее об Алёнином пребывании на валдайских озёрах и людях, которых она там встретила. Там в густых лесах среди множества озёр они отдыхали. Они – это некоторые кинематографисты советской эпохи. Неко-

торые, любившие порыбачить, пособирать грибы и ягоды. Был среди них и интересный мужчина средних лет с уже поседевшей густой шевелюрой. Мужчина звался Стасик. Это, если среди друзей и родных. А вообще-то Станислав Иосифович Ростоцкий. Кинорежиссёр. Он любил русский север, эти бескрайние просторы – озёр и лесов. Алёна была уверена, что именно там он снимал свой, ставший быстро легендой, фильм о войне – «А зори здесь тихие...» Зори на Валдае действительно были тихими, какими-то особенными. Позже Алёна узнала, что снимали не на Валдае, но всё равно на Севере. Русском севере. Таким необъятном, открытым, манящем, таким тихом и беззащитно-молчаливом. Впрочем, не молчаливом, он говорил, своими лесами, шелестом елей и сосен, озёрами и ручьями, их журчаньем и, конечно же, своими легендарными колокольчиками. Север. Именно там Станислав Иосифович снимал свой фильм о войне. Фильм без пушек и танков, без единой баталии, почти без выстрелов. Снимал, может, потому, что по северу прошли и его собственные военные дороги. Об этом Алёна вспомнила сейчас, когда взяла в руки подаренные когда-то давно валдайские колокольчики, вернее их связку, вспомнила, что и в ящике письменного стола у неё до сих пор лежит толстая папка неопубликованных воспоминаний режиссёра, вспомнила и снова упрекнула себя, что так и не обнародовала эти записи. Она подошла к столу и принялась листать рукопись. Взгляд остановился на описании первого боя и первого ранения.

[149]

Д и П / 2017

Это стояние в болотах дорого стоило молодому Стасику, раненую ногу пришлось отрезать, так что на репетициях сцен, где его героини пробираются по болоту, он был уже на костыле. Но bravo тащил молодых актрис за собой в топи, вернее указывал им, как пройти по броду. А утром были новокаиновые блокады. И крепкий кофе. И никто из снимавшихся долгое время даже и не подозревал, что машина скорой приезжала по утрам именно к их «Стасику». Это было не на Валдае, повторяю. Но когда фильм вышел на экран и завоевал сердца зрителей, поехал на фестиваль и получил там приз, на вручении премии режиссёр вручил жюри ответный подарок – набор колокольчиков. С Валдая. С русского севера. Это было в 70-х. Совсем скоро после войны. А в Москве, на сцене одного из ведущих театров, шёл спектакль по пьесе Генриха Бёлля, очевидца войны с немецкой стороны. И публика замирала, слушая откровения героя, о послевоенной жизни в Германии, о борьбе партий и группировок, о вновь надвигающейся угрозе простому человеческому счастью, счастьем жить под мирным небом. Публика замирала. Среди сотен людей замирала и Алёна. Тогда. В Москве. А потом в Германии судьба свела её с

Алла Киселёва

наследницей немецкого писателя и, сидя на кухне у неё в доме, Алёна узнавала те сосны и ели, о которых мельком упоминал в своих монологах герой Бёлля. Она смотрела на эти ели, злилась на Бригитту, жену сына писателя, собирающуюся их спилить – свет загораживают, вспоминала ели Валдая и думала, как всё переплетено. И колокольчик на двери дома Бёлля был. Он сообщал о приходе гостей. Был колокольчик, только не с Валдая.

Болота русского севера. В них пришлось полежать Станиславу Иосифовичу, полежать в ожидании атаки и впервые узнать, что такое чёрная ягода с сиреневой мякотью – черника. Её можно есть, особенно, когда так хочется пить, а в боевой фляге воды ни глотка, а до атаки, кто знает, сколько ещё ждать. Алёна каждый раз вспоминала этот рассказ о волшебной яголке, когда видела чернику в немецких магазинах, в Германии, где она теперь жила, чернику, аккуратно расфасованную по небольшим корзиночкам. Русский север. Европейский, немецкий, а ягоды одинаковые.

О ягоде режиссёр в своих фильмах не рассказал. Не рассказал и немецкий писатель, и всё же Алёна чувствовала эту их связь. Русского режиссёра и немецкого писателя. И связь, наверное, заключалась в том, что жили они в одно или почти одно и то же время, и счастье понимали одинаково, и отвлекла их от счастья эта самая проклятая война, которая встала между их народами, вернее странами. Потому-то и потом так понятно будет всё, о чём они писали и снимали, понятно людям, жившим и живущим в их странах. И колокольчики будут. Неизменные колокольчики Санта Клауса на Рождество, Санта Клауса, приезжающего откуда-то с севера на оленьей упряжке. С севера. Неважно, какого: русского, немецкого или вообще нейтрального. С самого северного полюса. Так, наверное, даже лучше.

Татьяна Устинская

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Надоело шататься по городу.
Я сегодня всего-то хочу,
Чтобы дождь не морочил мне голову,
Чтобы было мне всё по плечу.

Чтоб звучала негромкая музыка,
И к бумаге прильнули стихи.
Чтобы жизнь не была мне обузой,
Все, мои распечатав грехи.

Чтоб открылось «второе дыхание»,
По осеннему парку пройдусь.
И чтоб лучше понять мироздание,
Сбросить с сердца сжимающий груз.

И затем, за осенними ливнями,
Когда снегом поля заметёт.
Буду верить я в сказки наивные,
Чтоб с надеждой встречать Новый Год!

МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Как жаль, – кончается весна.
Хоть я, обычно, в мае маюсь,
Но каждый год поймать стараюсь,
То, что приносит мне она.

Прельщает неба синева,
И хочется взлететь, как птица,
И чтоб удачно приземлиться,
Спасёт зелёная трава.

Прекрасен города наряд
Во время майского цветенья.
Моё улучшит настроенье
Цветов весенних аромат.

Мне душу греет птичий хор,
И дни, что расцветают в мае,
Когда природа джаз играет,
Моей тоске наперекор.

УХОДЯЩАЯ ЛЮБОВЬ

Куда торопится Любовь?
Наверное, ей срок отмерен.
А мы, как в молодости, верим,
Что зацветут тюльпаны вновь.

Непредсказуема Любовь, –
Насильно удержать не сможет.
И наши чувства не умножит
Поток полузабытых слов.

Что оставляет нам Любовь?
Не счесть всего, что с нею было.
Какие возродила силы,
Тогда, когда открыла кров.

Незабываема Любовь,
В душе оставив след немалый,
Когда в ней страсти раздувала,
И будоражила нам кровь.

НОЧНОЙ ЗВОНОК

Свет далёкой звезды я увижу в ночи.
Мне осветит звезда изголовье кровати.
Я услышу звонок. Говори. Не молчи.
И теперь мне твой голос, как прежде, приятен...

Растворились в годах обещаний слова.
Растворилась душа в повседневной трясине.
А когда-то ты руки мои целовал,
И блестели глаза твои серые с синим.

И казалось: любовь не имеет конца,
Как объятий твоих необузданных сила.
Помнишь, как в унисон наши бились сердца,
Нам в окно улыбался Амур белокрылый.

И осенняя ночь нам была коротка,
Расплывались во тьме очертанья предметов.
Ты признался: другую напрасно искал, –
Я одна для тебя в целом мире на свете.

НЕРАЗДЕЛЁННАЯ ЛЮБОВЬ

Пронести свою боль через стену дождя.
Утопить свою грусть в чаше чая вечерней.
И спросить: «Почему ты не любишь меня?»
И услышать в ответ: «Не нужны приключения».

Вот и полночь прошла. Наступил новый день,
Но не хочется спать, и на сердце тревожно.
Как мне жить без любви, не смогу я понять,
И такое зачем в нашей жизни возможно?

И не спросит никто: «Как ты с этим живёшь?»
Как надежду и веру собрав по крупичцам,
Отправляешься спать, позаботясь о том,
Чтобы завтра с утра для любви возродиться».

[153]

Д и П / 2017

Поэзия и проза

Давид Брацлавер

СЕРЕБРЯНАЯ ПРОСЕДЬ

В висках серебряная проседь.
Где ты, весенняя пора?
Нежданная старуха-осень
Без стука в дом вошла вчера.

Я молод был. Во мне звенела
Неповторимая струна.
Какие серенады пела
Душа моя! Любви волна

Несла меня в поток пучины!
Чарующе-манящий взгляд
Уже ль стал тлением лучины
Всего лишь миг тому назад?!

Нет! Я осеннею порою
Себя считаю молодым,
И серебрятся сединою
Мои виски огнём... седым.

НА СКЛОНЕ ОСЕНИ

День ото дня становится короче,
Лениво солнце светит свысока,
На встречу к звёздам под покровом ночи
Луна переплывает облака.

Ветра и ливни, первые морозы
Срывают листья с гордых тополей,
Склонилась к дубу Бледная берёза
И просит: «Милый, даму обогрей!»

Давно не слышно птичье щебетанье,
Журчанье рек не беспокоит слух,
Но нарушает диким завываньем
Лесную тишину зловещий дух.

Припудрилась сосновая макушка,
Искрится снег на ложе из ветвей,
А седовласая Зима-старушка,
Торопит осень: «Уходи скорей!»

* * *

Ярким светом блещут звёзды,
Посылая благосклонно
Бриллиантовые грёзы
В сновидения влюблённым.

Напросилась в гости буря,
Серебром дорожки стелет,
И, на землю глядя хмуро,
Небо чёрное седеет!

Выплывая из-за тучи,
Над Гекатой* торжествуя,
Лик луны, как серп могучий,
Разрывает тьму ночную!

Ото сна по воле Феба
Пробуждается Аврора,
И плывут на лоне неба
Кудри в радужных узорах!

*Геката – Греческая Богиня мрака.

ФАРШИРОВАННОЙ РЫБЕ

Ты, в акватории речной
Считалась редким исполином,
Встречая рыб, как демон злой,
Пугала всех ты хищным видом.
Была ты дерзкой и коварной,
И с помощью своих зубов,
Как кузнецы на наковальне,
Ковала для себя врагов.
Но удочку приняв за палку –
Посланицу небесной мести,
Попастся на крючок, нахалка,
Ты заслужила честь по чести!
И за оказанную милость,
За «благородные дела»,
В гефилте фиш ты превратилась,
Став украшением стола.
Под соусом на блюде белом
Твоё величество лежит
Между вином и красным хреном,
Знай, вызывает аппетит!
И, несмотря на приступ лени я,
Не исключаю «преступления» –
С тобой без всякого смущения,
Расправиться до пресыщения!

Так беспощадная фемида
Под управлением Творца
За преступленья и обиды
Карает душу подлеца!

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТНЯЯ ПОРА

Августа последняя неделя,
Солнце греет ласково с утра,
Ласточки проснулись и запели:
«До свиданья, летняя пора!»

«У природы нет плохой погоды»,
Но прекрасней лета не найдёшь –

В золоте купаются восходы,
Блещет солнца золотая брошь!

Скоро осень – листья пожелтеют
И Земле поклонится трава.
Роца удивиться не успеет,
Как зима войдёт в свои права.

Сбудутся седой зимы угрозы:
Твёрдым льдом покроется река,
Поредеет лес, придут морозы,
Поседеют в небе облака.

А сегодня ласточки запели
Песни предосенние с утра:
«Августа последняя неделя,
До свиданья, летняя пора!»

ХАЙФСКИЙ ВАЛЬС

Луна померкла, уступая
Приходу утренней зари.
И солнце Хайфе посылает
Свои лучистые дары.

Упрямо чайки с ветром споря,
Поют, взлетая в небеса.
Зовёт меня в пучину моря
Голубоглазая краса.

В кустах с душистыми цветами,
Шумит от наслажденья шмель,
И радужно – семью цветами
Переливается капель.

О, Хайфа! Я давно здесь не был,
Но радость встречи велика:
Родное ласковое небо
Улыбку шлёт издалека.

[157]

Всегда и всюду помнить буду:
Кармель, висячие сады,
Бахайский парк, – восьмое чудо –
Непревзойдённой красоты.

МУЗА

В мой скромный холостяцкий дом
Вчера на звуки блюза
Явилась, словно с неба гром,
Пленительная Муза:

«Я не на чай, не на коньяк!
Пардон, без приглашенья.
Я, на минутку, просто так
Зашла из уваженья...»

Мадам была на «Шевроле»,
Держала руки в боки...
Лежала ручка на столе –
Мы сочиняли строки!

Я пробовал – по тормозам,
Но думал о высоком...
И с той поры я – Музин зам
По кадрам, и по строкам!

МОЯ ВОЛНА

Нептун, всесильный царь природы,
Нет власти крепче волн твоих!
Хранят твои живые воды
Безмерность вечности и миг.

Считаю волны океана,
Прощаясь с каждой волной.
И кажется мне постоянно:
Одна из них бежит за мной.

Искрится тайным добрым светом,
Как путеводная звезда,
Она меня зимой и летом
Зовёт неведомо куда.

Я вижу грозные преграды
И слышу ураганов вой.
Волна плывёт со мною рядом –
Непредсказуемой судьбой!

[159]

ВЕТКА СИРЕНИ

Повинуясь велению мая
И природы почувствовав власть,
Распустилась сирень голубая,
Соблазняя сломать и украсть.

Мне не стыдно за это мгновенье,
За безумство нахлынувших чувств:
Скромной веточкой нежной сирени
Поделился обиженный куст.

Эту ветку в ладони сжимая,
Как жемчужину южных морей
Или певчую птичку из Рая –
Подарил я подруге своей.

И в конце запоздалого мая,
В потеплевший от радости день
Улыбнулась моя дорогая,
Согревая губами сирень.

ЖАДНОСТЬ – НЕ ПОРОК

Нет, нет! Я вовсе не пророк!
На пальцах чувства не считаю.
Но жадность – не всегда порок!
Об этом я прекрасно знаю.

Я жаден деньги отдавать
Грабителям и хулиганам.
Я жаден гостя принимать
С бездонным...
собственным стаканом.

Я жаден чувства раздавать,
И похвалы дарить заочно.
Я жаден с жадным пировать...
Нет! Жадность –
Не всегда порочна!

ЛЕНЬ

С тобою спорить я не в силах,
лень благородная моя,
и счастлив тем, что ты решила
собою соблазнить меня.

Я, от безделья уставая,
нередко на исходе дня,
от мая до другого мая,
нетерпеливо ждал тебя.

От солнечных лучей скрываясь,
в тени отыскивая ТЕНЬ,
горжусь тобой и восхищаюсь,
моя неслыханная лень!

И, благодарный этой лени,
я в тихой жизни не грешу:
пишу стихи о чувствах Лене –
хоть и лениво, но пишу.

И от души благодарю
лень бесподобную мою!

СВИНЬЯ И БАРАН

(Басня)

Свинья однажды, утром рано,
Случайно встретила Барана
И, улыбнувшись очень мило,
Баранье сердце покорила.

[161]

Любовной сладостной завесой
Взор затуманился Бараний:
– Стань, дорогая, Баранессой, –
Нет у меня других желаний!

– Жизнь без тебя – сплошная ночь!
Стать Баранессой я не прочь!
Хоть мне свобода дорога,
Я влюблена в твои рога.

Как Баранесса ни хитрила,
(Баран влюблённый всё простит!),
Но трудно скрыть свиное рыло
И поросячий аппетит.

Всё, что попало, без предела,
Она жрала, простите, – ела.
И вот однажды, утром рано,
Настала очередь Барана!

Не всяк Баран понять способен,
А только тот, кто несъедобен,
Сию нехитрую мораль.
А жаль!

КОНЕЦ АПРЕЛЯ

Гудят ветра в конце апреля,
Как в дни седого февраля.
И под симфонию метели,
Дрожит упрямая земля.

Повисли молодые кроны
С гирляндой листьев на стволе.
И слёзы, жалобы и стоны
Растаяли в кромешной мгле.

Жаль, что восходит, но не греет
В апреле солнце над землёй,
С природой споря, зеленеет,
Трава на паперти лесной.

Украсив белым цветом ели,
Искристый снег, гордясь собой,
Не верит, что в конце апреля,
Зима прощается с весной.

Виктория Пышная

[163]

ИЕРОГЛИФЫ ВЕСНЫ

Лёгким и пышным, как облака,
Вишня рассыпалась белым цветом,
И изумрудных полей река
Блещет, гонимая тёплым ветром.

Как иероглифами, небеса
Резко очерченными ветвями
Тонко исписаны. Со словами
Песни о том, что пришла весна.

ПИСЬМО

Напишите мне письмо всего в два слова.
Я тогда, поверьте, всё пойму.
Прилетали ль ласточки к вам снова?
Отцвела ль черёмуха в саду?

Красовалась долго ль белым цветом
Или очень быстро отцвела?
Напишите, как жилось Вам этим летом?
Напишите, вся ль любовь прошла?

Вся ль иссякла? Всё ли позабыто?
Все ли строки Вами сожжены?
Кто теперь для Вас та Афродита,
Что являлась мною в Ваши сны?

Напишите что-нибудь такое,
Чтобы успокоилась душа.

Позабыто ль небо голубое?
Позабыта ль смятая трава?

Напишите мне письмо всего в два слова...

ФЛАМИНГО

Заколдованные розы ли,
Словно солнечные отблески,
Как несыгранные нот листки
Чёрных шпилей-лапок в озере.

Или сакуры опавшие
Лепестки на гладь озёрную,
Лунным светом напоённую
И притихшие, уставшие.

В миг один взовьются пламенем
Крылья огненные, страстные,
Удивительно- прекрасные,
И исчезнут в утра мареве.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Шагать в неизвестность
сквозь дикую местность,
Где горы вздыбили гривы.

Сквозь чуждые страны,
где океаны
С луной играют в приливы.

Где брызг мириады
от водопада
Кольшатся тюлью белой.

И солнце свой лучик
в угрюмые тучи,
Как шпагу, вонзает смело.

... Под пальмой качаться
и вместе смеяться,
И резать арбуз на части.

И, звёзды считая,
уже засыпая,
Почувствовать – это счастье.

ВЕРСАЛЬ

...Красная древняя спальная.
Царская опочивальная...

[165]

Занавес не заколышется,
Тихих шагов не почувдится,
Сладких духов не послышится,
Чудо не сбудется.

Тени стекаются строками
На подоконнике каменном.
Лишь канделябры высокие
Помнят о пламенном.

И ясноокая, милая,
На гобелене застывшая,
Столь незабвенно любимая,
Тоже лишь бывшая.

...Тайная, томно- печальная
Царская опочивальная...

НА ОЗЕРЕ

Блестело озеро металлом
В последних вздохах ноября.
Но, словно красок всплеском алым,
Палитру осени даря,

Берёзка появилась в роще
Деревьев чёрных и нагих.
Она зимы ещё не хочет,
И всё танцует и хохочет,
Не унывая среди них.

На фоне серой паутины
Уже безлиственных ветвей

Она стояла, как картина,
Увы, ушедших ярких дней.

Являя сердцу удивленье –
Подобно солнцу, счастье есть!
Оно лишь временно в забвенье,
И возвратится, словно песнь.

[166]

ВЬЕТНАМ

Ещё струилась сонная прохлада,
Когда мы вышли к озеру Ба-Бе,
И солнца луч с заоблачного сада
Ниспослан был для утра на земле,
Где было всё для путника – отрада.

Тащились буйволы по сумеречной глади,
Как будто бы в неясном полусне.
И шерсти их оторванные пряди,
Ловя извилистой дорожкой солнца свет,
Тянулись волоком по серой мути сзади.

Как чёрной туши тонкие штрихи,
Застыли в одиноком ожиданье
На лодках деревянных рыбаки,
И тени их дрожали в свете раннем,
Ломая шапок отраженья уголки.

И было невозможно оторвать
От озера восторженного взгляда.
Чтоб только этот миг не потерять,
Ведь кроме этого так мало в жизни надо –
Закрывать глаза, чтобы раскрыть опять.

Увидеть чудеса у самых ног,
И, радостью пронзённый, как стрелой,
Понять, что осчастливить нас не смог
Поток вещей, что можем взять с собою,
Но солнечных лучей и вод поток.

Альберт Леин

[167]

* * *

Я готов от счастья умереть,
Не от яда мерзостей и почестей,
Лучше быть валежником в костре,
Чем стонать атлантом одиночества.

Я для вас – тепло, когда зима
Сквознякомства тешится отдушиной.
И когда шагнёт на землю март,
Стану я весною – первой лужею.

Если август выльется жарой,
Высушит деревьям листья-волосы,
Тенью буду, ключевой водой
Родника, зовущим в гости голосом.

Я готов за вас страдать, гореть,
Будьте только счастьем ухожены,
Потому готов я умереть,
Только чтобы было всё по-божески.

* * *

Облаками день в небе развешен,
Солнца луч, балагурщик и лгун,
За созревшей улыбкой черешен
По земле разгулялся июнь.

И в сумятице зелени листьев,
Где колышется тени покой,
Ветра спят беспокойные рыси
И коварный угар сквозняков.

И, балконы раскрасив цветами,
Молчаливее стали дома,
И вороны совсем не картавят,
И скворцы на заре без ума.

И теперь парк соперником леса
И приютом гуляющих стал...
За невидимую занавеской
Гром дождя рассыпает кристалл.

* * *

Стояла обречённость тишины,
И наслаждался воздух безвороньем,
Как будто после бури иль войны,
Несли печаль деревья вдоль дороги.

И где рассвет огнями полоскал
Забывтое луною горизонтство,
Рассвечивалось небо по кускам,
По облакам холодного сиротства.

И вдруг, как возвращения привет,
Казалось, навсегда ушедшей жизни,
Затрелил вдохновенно соловей,
На обновленье встречи её вызвал.

* * *

Осудил Господь декабрь
С конфискацией имущества,
Нету снега. Нету сущности,
Словно масти на руках.

Дождь печалит серый день,
Тяжесть липкая тумана
Улиц путает карманы,
Чувства праздничных идей.

В Эрмитаже ли зима,
Или в Лувре, как картина,
Где события старинны,
Где снеженья хохлома.

[169]

Дождь, а где-то снег и солнце –
Неба лучный полотёр.
Вот и Дед Мороз идёт,
Расправляя пёстрый зонтик.

* * *

До боли в мыслях я хочу
Тебя опять сегодня видеть
На подиуме светлых чувств,
Одежды сбросивши обиды.

Я знаю. ты, как все, грешна,
Безгрешен ангел только в книгах,
Ты среди равных, как княжна,
Среди княгинь ты, как Богиня.

Своим приходом угостив,
Отбросивши дары восторгов,
Кричишь кому-то: «Отпусти!»,
Любовь – достоинство не торгов.

Цветы мечты к твоим ногам
Я положу, украсив случай,
Надежду я опять замучил,
Всем ожиданиям солгав.

* * *

Простора выцветшая заводь
На волн ложится суету,
Закат с коровьими глазами
В пучине моря утонул.

И ночь интрижна и разбойна,
И волчьи звёзд горят глаза,
И берег, мучаясь прибоем,
Бессонниц узел развязал.

[170]

Д и П / 2017

Альберг. Леин

РАБСТВО

Я в прежней жизни был рабом.
Меня пленили в Иудее
неумолимые злодеи.
Звучал истошный вопль кругом.

Исхлёстанный до язв кнутом,
изнемогая и зверея,
я строил арки Колизея,
дворцы патрициев. Потом

был перепродан на галеры
те, что без флага и без веры
неслись в морях во все концы.

Свистела плеть – подобье змея.
На всей спине моей, алея,
ещё не зажили рубцы.

ИСХОД

1.
Ноги жёг песок до боли.
Боль в душе от всяких бед.
Из египетской неволи
мы бежали много лет.

Влѣк нас властный зов свободы
к берегам Святой Земли.
Смыть ни годы, и ни воды
нашу память не смогли.

Помню муки и скитанья,
пот катился по лицу,
и на солнце хлеб изгнания
мать пекла для нас – мацу.

Жажда нас в пути томила,
но и добрым день бывал.
Нам судьба благоволила:
и вода лилась со скал.

Сорок лет терзали ветры
наши души, нашу плоть.
Сорок лет на прочность веры
нас испытывал Господь.

Слал народ проклятья плену
И пощады не просил.
Кто ещё такую цену
За свободу заплатил?

2.
Я ему сказал: «лехаем»,
он ответил мне: «шалом».
Песах радостно встречаем
мы за праздничным столом.

Всё же собрались мы ныне
не для дружеских речей,
а скитанья по пустыне –
вспомнить всё до мелочей.

Вспомним мы, как ветры пели,
к нам примчавшись сквозь века,
и как годы пролетели,
словно времени река,

как бежали от погони
к берегам Святой Земли,
и догнать лихие кони
нас, гонимых, не могли.

Мы бежали – без дороги –
часто даже босиком,
ободрав до крови ноги.
Ветер дул в глаза песком...

[173]

К нашей радости немало
было на пути чудес:
от своих щедрот бывало
манну слал нам Бог с небес.

И случилось: расступились,
кровь омыв из наших ран,
волны, что о берег бились
и накрыли египтян.

Все мы в сумерках блуждали,
но Господь развеял тьму,
подарив свои скрижали
нам, народу своему.

Караваны бед осилить
нам помог Завет Творца.
Кроме плена и насилья
Нам даны: мечты, маца...

Женщины детей рожали –
для любви запретов нет.
Мы в пути росли, мужали.
Долгим путь был – сорок
лет!

Завоёвана свобода –
блага все её, права –
мужеством всего народа.
Память о годах Исхода
до сих пор ещё жива.

ПЛАЧ РАХИЛИ

*«Рахиль плачет о детях своих
и не хочет утешиться о детях
своих, ибо их нет»*

Книга пророка Иеремии
2-31-15

Вы слышите вселенский плач
и вопль отчаянья над миром?
Осмеянный волхвами Ирод
младенцев повелел – палач –

предать мечу. На сотни миль –
и кровь, и стон, и ад кромешный.
О детях плачет безутешно
с тех пор скорбящая Рахиль.

Бушует времени река.
И каждый раз, чтоб править миром,
приходят новые кумиры.
И плач несётся сквозь века.

Шальные ветры, как сычи,
вопят иль всхлипывают, или
скулит метель, – то тень Рахили,
быть может, мается в ночи.

Она до сей поры зовёт
своих детей то криком птицы,
то в окна тёмные стучится
в ненастной мгле. И слёзы льёт.

В домах, куда пришла беда
утратою невосполнимой,
Рахиль присутствует незримо,
и плач её неудержимый
не умолкает никогда.

Евгения Воробьева

[175]

* * *

Свеча погасла, но оставила тепло,
направив мои мысли на удачу.
Желаньем счастья меня заволокло.
Мне жаль свечу, – я от волненья плачу.

Я точно знаю: скоро мой придёт черёд
покинуть этот мир, скупой и бранный.
Заупокой по мне лишь ветер пропоёт,
и песнь его промчится по вселенной.

Увы, свеча мертва, исчез её дымок,
и парафин слезами застывает.
Так жизнь моя уйдёт, когда наступит срок.
Когда уйдёт? Лишь Бог об этом знает.

* * *

Уйдут стихи в чужие руки
и мысли унесут мои:
болезнь, и смерть, и боль разлуки,
и радость в солнечные дни.

Читатель, сердцем принимая,
сроднись и чувствами со мной.
Прочти стихи, не осуждая,
не усмехаясь за спиной.

Ведь в них – лишь доброе начало
и пожелание тепла,
и счастье, что я испытала,
когда мне жизнь стихи дала.

БЕРЁЗА

Берёза выросла. Её волнует ветер, –
покой он отнял, и заигрывает с ней,
он предлагает ей торжественным дуэтом
осанну небу спеть под шёпоты ветвей.

Там, в глубине двора, тропа к её жилищу.
Мой на тропе не исчезает след,
хоть ветра суета, – он там, как прежде, свищет,
и баритон его срывается в фальцет.

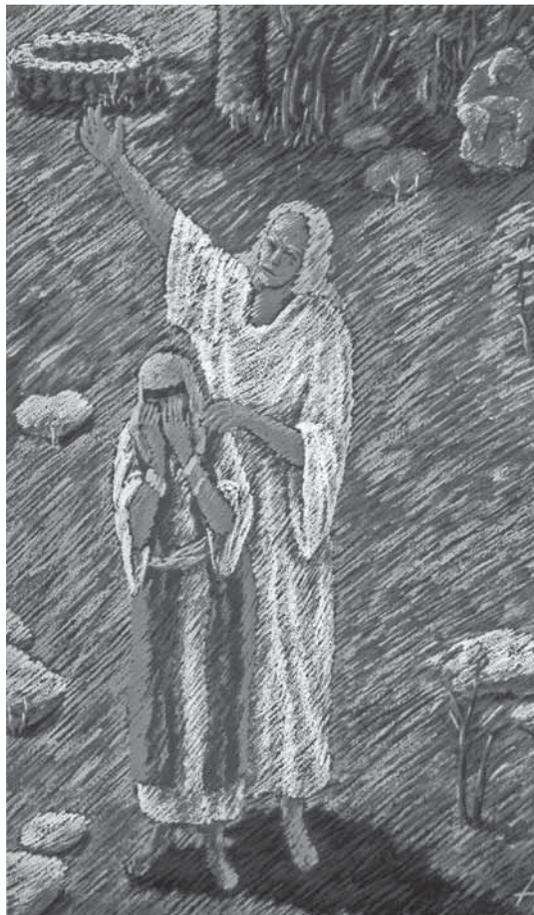
К берёзе я спешу, чтоб попросить совета:
как продолжать мне жить, осуществить мечту?
Мне ветер нипочём, – не заслонит он света,
не затемнит ничем берёзы чистоту.

* * *

Мне солнце подарило вдохновенье, –
не поскупилось на бесценный дар.
Я улыбаюсь каждому мгновенью,
и солнца пью целительный нектар.

И даже сумерки мне не помеха, –
я солнца свет и в тьме ночной храню.
Он помогает мне достичь успеха,
и смелость, чтоб идти навстречу дню.

Теперь ко мне доверчивей природа,
и дружба с ней мне прибавляет сил.
Душа желает счастья и полёта, –
я верю, солнца дар на это вдохновил.



Леонид Бердичевский

Заметки о художнике
Адольфе Ошерове

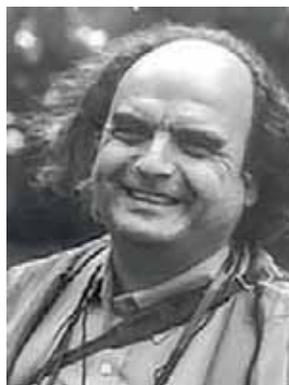
[178]

Д и П / 2017

Публицистика. Мемуары. Эссе

Великий Мастер, японец Кацусика Хокусай, более двух веков тому назад наставлял: «Если хочешь правильно нарисовать птицу, ты сам должен стать птицей». Остаётся с этим согласиться, рассматривая работы художника А. Ошера. В каждом из его персонажей вполне угадывается их автор. Думается, что все они наделены его ироничной улыбкой, его духовным и внутренним миром. Художник живёт в них свободной и комфортной жизнью. Они – его близкая родня, его собеседники, его партнёры по жизни. Они наделены теми чертами, которыми Господь наделил самого художника. Хочет он этого или нет, но ему от них никуда не уйти. В них не только изображение того или иного типажа, в них стержень самого еврейского народа. С его грустью и улыбкой, с его смелым неподражаемым юмором, очарованием и разочарованием. Поражает то, что он, житель большого европейского города, не отстает ни на шаг от национальной этнографии. Всё в его персонажах достоверно: и одежда, и атрибутика, и даже сарказм. По-видимому, здесь, как говорится, «выстрелила» генетика. Как с этим поступить? Да, никак. Придётся нести всё на себе, для себя и для зрителя.

Автор этих строк когда-то писал: «Не отрывайтесь от своих корней, / Не забывайте о своих истоках».





[179]

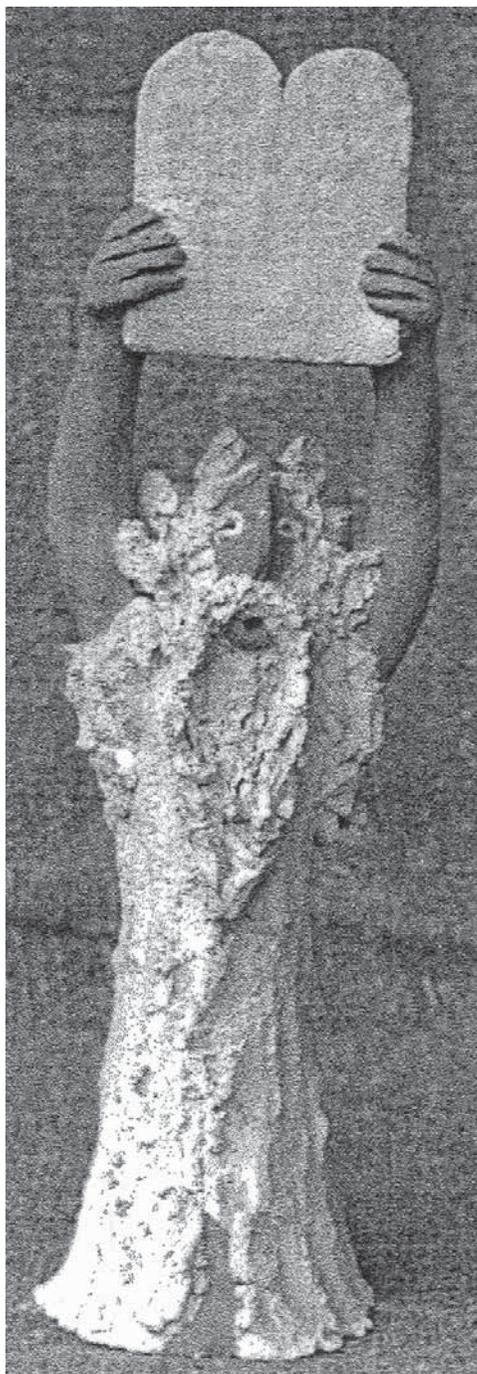
Д и П / 2017

Леонид Бердичевский

Нашему художнику этого представления и не надо было. В нём накрепко проросли корни народа, а об истоках он не просто не забывает, они питают его дарование, его душу и его ум. Ничего иного он не мог себе даже представить ни во сне, ни наяву. Такова его Судьба, его Дыхание, его Сущность.

Мне посчастливилось жить рядом с художником многие годы. Да и теперь мы встречаемся довольно часто. Итак, Адольф Ошеров родился в Киеве в 1930 году. Он, разумеется, в нескольких поколениях – киевлянин, что, само по себе, ныне является редкостью, ибо в городе катастрофически мало осталось подлинных киевлян. В годы Отечественной войны вместе с родными он был в эвакуации, благодаря чему Господь сохранил ему жизнь. Рисовал с детства много и увлечённо, результатом явилось окончание им графического факультета Украинского полиграфического института имени Ивана Фёдорова. Но не только графика прельщала его, – он занимался проектами интерьеров для будущих музеев и выставок, а также, так называемой, пластикой малых форм, что особенно увлекло его. Это, преимущественно, статуэтки, изображающие типы ушедшего прошлого еврейского народа. Выполнены они в красной глине (шамоте), с последующим закрепляющим обжигом. Всё художник выполняет сам. Каждая работа уникальна, ибо он ни одну из них не повторяет, всякий раз находя





[181]

Д и П / 2017

Леонид Бердичевский



новые ракурсы и образы. Работ – бесчисленное множество. Некоторые однофигурные, некоторые представляют серии, цельные развёрнутые повествования. Каждой работе или серии художник присвоил название, собственное имя. Все они – с откровенным приёмом гротеска, или лёгкой иронии, но ни в коем случае не издевательской насмешки.

Так в серии «В черте оседлости» присутствуют и профессии, и исторические типы, и предметы еврейского быта, и горькие моменты трагедии народа, и моменты веселья. Нет смысла перечислять все темы, привлёкшие внимание художника. Им несть числа. Его внимательный глаз замечает и впитывает всё виденное, фантазия же размещает всё в композицию. Так уж повелось у подлинных Творцов.

Хочется отметить, что работы Ошерова с удовольствием приобретаются серьёзными коллекционерами и представлены в экспозициях нескольких музеев в Украине, России, Израиле, США, Германии, Бельгии, Люксембурга. Они демонстрировались на многих персональных и коллективных выставках.

С конца 70-х годов Ошеров занялся резьбой по дереву. И здесь, в этом материале, также преобладает еврейская тема, в первую очередь, – войны и Холокоста.

Художник досконально освоил все нюансы и приёмы пастели, к которой часто обращается. Работа в этой технике проводится на шероховатой поверхности бумаги, которая создаёт определённую





фактуру и требует растушёвки вручную. Она зависит от мастерства художника.

Об этом можно судить по огромной работе, выполненной им – 140 листах в выставочном формате – иллюстрациях к Великой Книге,

– сборнику Мидрашей и Агаде еврейского народа. Этот смелый и добросовестный труд был выполнен в 1993 – 2002 годах. Известно, что с момента дарования Всевышним, Тора была разделена на Письменную и Устную части. Письменная – это своего рода, Книга «кодов», где записи и заповеди даны вкратце. Устная – это комментарии и объяснения к «кодам», дающая, более расширенное понимание Торы.



Ошеров, обстоятельно изучив обе части, своими иллюстрациями в художественной интерпретации преподнёс читателям наглядное толкование Великой Книги. «Агада в иллюстрациях» вышла в Берлине в 2014 году и сразу же стала раритетом, – не каждый из желающих смог стать её владельцем.

В предисловии к Книге Ошеров пишет: «Десять лет жизни я посвятил созданию иллюстраций к Агаде, желая открыть миру мудрость, глубину, красоту и поэтичность притч, легенд и сказаний...» Нам

думается – он с честью справился с этой задачей.

В этом выпуске Альманаха мы, с разрешения автора, поместили некоторые листы из «Агады в иллюстрациях», а также репродукции некоторых его работ, в том числе – на обложке и шмуцтитлах разделов Альманаха.

Предлагаем два стихотворения Адольфа Ошера к иллюстрациям, выполненным специально для нашего издания к обложкам, в авторской редакции.

Адольф Ошеров

ЕВРЕЙСКАЯ МУЗЫКА

Льётся музыка с небес,
В ней звучит печаль и смех.
Это музыка народа...
Для него сама природа –
Бог. Судьба. Века насилья
Дали и талант, и силу,
Отстоять свою свободу
И подняться к Небосводу.

«ВЕЧНЫЙ ЖИД»

Летит над миром «Вечный Жид»,
А время по земле бежит...
Народы тихо умирают,
И их культуры исчезают...
А он живёт. Веками терпит –
Погромы, шоа, геноцид.
Но время всё бежит, бежит!

А Жид всё сеет, пролетая,
Он людям душу открывает.
Добро он сеет и Науку,
И разгоняет жизни скуку.
Он с Богом тихо говорит,
И всё творит, творит, творит!
А что взамен он получает?
Погромы, шоа, геноцид!

Генриетта Ляховицкая

[185]

*Из автобиографических записок «Мой взгляд в
искусствоИденни»*

«МЫ ЧИТАЕМ ВАС, ЖЕНЯ. ПИШИТЕ!»

О ЕВГЕНИИ ЕВТУШЕНКО

Начну отрывком из собственной автобиографии шестидесятницы: «Как ждали мы встреч с известными поэтами! Мало кому удавалось на них попасть... Однажды долго мокли под дождём, не имея билетов на вечер Евтушенко. Он подъехал на машине, мы кинулись к нему: «Женя, нас не пускают!» Он ответил: «Ничего нет, ни одной контрамарки, эти сволочи райкомовские всё забрали. Но посмотрим...» Небольшая группка осталась мокнуть, и... открылась заветная дверь. Какой-то человек махнул нам: «Женя велел всех впустить, только тихо». Мы пробрались в зал, уселись, счастливые, на ступеньках, поскольку свободных мест не было. Многие стояли. Не дыша слушали «Бабий Яр», «Качку», которую читал он бесподобно: «Все инструкции разбиты, / стёкла шхуны тоже вдрызг, / лица мертвенны, испиты, / под кормой крысиный визг».

Здесь идёт речь о его выступлении в Питере в 1965 году в Доме Культуры Горького... Евтушенко – высокий, красивый, талантливый! Разве можно было не восхититься, услышав: «Анна Франк, прозрачная, как веточка в апреле»... Под впечатлением от этого вечера я тогда же написала стихотворное обращение к поэту:

К ЕВТУШЕНКО

*Почему обязательно надо стихи
посвящать только мёртвым поэтам?
Ведь они, непривычно и больно тихи,
никогда не узнают об этом.*

*Я хочу говорить о живых, молодых,
полнокровных и пышноволосях,
чтобы меньше средь них было ранне-седых,
неуверенных и безголовых.*

*Женя! Вам посвятить эти строки хочу,
Вам, пока Вы живой и горячий,
и пока Вам любая страда по плечу,
и пока по Вас женщины плачут.*

*Вы смелы и честны. Прорубаясь сквозь тьму,
Вы свой суд над неправдой вершите
и умеете мыслить в стихах, потому
мы читаем Вас, Женя. Пишите!*

1965 г.

* * *

Не знаю, какую цену давали власти непокорным, чтобы обратить их популярность себе на пользу. Но пролегал в творчестве некоторых из них трагический рубеж, и они забывали себя прежних и нас – их верных «со-творцов». На юбилейном концерте 30 июля 1983 года в Большом Концертном зале «Октябрьский», отмечая своё 50-летие, так и не прочёл Евтушенко «Качку», хоть и просили мы его об этом в записках, да и просто выкриками из зала.

У меня сохранились листки из блокнотика с записями, сделанными на этом концерте. Вот некоторые строки из них:

«Три одновременных имени вашего города воплощают всю историю России. Сейчас я приехал из Лицея. Там я допытывался у экскурсовода: «Где место поэта?»... Пушкин был отцом нашего языка, нашей нации, тех ценностей нравственных, которые стали основой жизни... Я, «переживший по возрасту Пушкина», был в шестидесяти семи странах, больше, чем все поэты до меня. После судьбы Кольцова моя судьба неестественна: «Русский поэт с такою судьбою, / моралью уже подозрителен. / Русские поэты, шагнувшие за сорок, / у нас на Руси – долгожители».

«Мне было 13 лет, когда я написал о женщинах так: «Лишь только ночь уюта и забывчивости – я больше ничего от них не ждал». Меня тогда спросил поэт Досталь, посмотрев мои стихи: «Почему отец не сам пришёл, а вас прислал?»

«Прочту вам стихи ещё юного Евтушенко, не прошедшего этого

печального рубежа почтенности», и поэт прочёл несколько стихотворений: «Со мною вот что происходит»; «Когда взошло твоё лицо над жизнью скомканной моею»; «Как стыдно одному ходить в кино-театры, без друга, без подруги, без жены»; «Ты спрашивала шёпотом, а что потом, а что потом?».

«Я написал когда-то стихи, за которые меня страшно ругали, а сейчас больше всего цитируют:

«Я разный, я натруженный и праздный... И если я умру на белом свете, то я умру от счастья, что живу». Здесь, в Ленинграде, один поэт сказал после них: «Да ладно уж, пустите Дуньку в Европу». И меня пустили. И я до сих пор этому поэту благодарен за такую рекомендацию».

Затем Женя рассказал, что ставит фильм «Детский сад» на Мосфильме; поведал о своём сибирском детстве и в стихотворении «Проходной двор» о московском – в Марьиной роще на 4-й Мещанской: «Я придворный поэт проходного двора». Читал «Быль про мёд» о подлом поведении «столпа российской прозы» в голодные дни войны; про чёрный ход с его блатом: «Разве с чёрного хода когда-то / всем народом вошли мы в Рейхстаг?» Прочёл стихи памяти Высоцкого: «Ты бедный наш гений семидесятых...»; конечно же, читал «Бабий Яр». О работе поэта говорил, что это «улавливание неуловимого, подслушивание неслышимого, подсматривание невидимого».

В конце первого отделения девушки устремились к сцене и ода-рили Евтушенко цветами. Он принимал их, приговаривая: «Что-то вы меня балуете, видимо, жалуете, уважаете старых людей».

Во втором отделении он, переодевшись, читал новые стихи. Мне понравилось хорошо студентам знакомое: «Я, мясо полжизни искавший беззубою вилкой в столовских котлетах». Тронуло меня стихотворение «Роскошь бедных» – «Сказала девочка в Зарядье: / «У вас, мужчина, / есть что-то бедное во взгляде, / вот в чём причина»... Заканчивалось оно словами: «Умру последним из последних, / но с чувством рая. / Единственная роскошь бедных – / земля сырая». Из стихотворения «Мои университеты» запомнились, возможно не точно, строчки: «Я учился у тех, кто совсем как поэт не случился – / у слепцов, по вагонам хрипевшим... / в бараке, больше, чем у Пастернака, / и стихи мои в стиле «баракко»... / Я учился у всех графоманов с роковым содержанием стихов / и с пустым содержанием карманов».

В остальном, было печально слышать, как поэт переродился. Даже почти цельнотянутый с Маяковского стих не помог: «Штанина любая гремела трубой водосточной, хребет позвоночный бессрочно...» Отрывки из старой поэмы «Братская ГЭС» дела не поправили. Зал реагировал на всё совсем иначе, чем в первом отделении, сдержанными аплодисментами «из вежливости». Смехотворно прозвучали слова

«Когда ты даёшь молоко» из стихотворения «Хранительница очага». Вскоре, найдя его в газете, я написала *пародию* под названием «Даёшь молоко!», подражая привычным газетным лозунгам вроде «Даёшь урожай!», «Выше надой!» и имея в виду слухи, будто Евтушенко женился на богатой иностранке – отсюда слова «очерчена золотом грудь»:

[188]

ДАЁШЬ МОЛОКО!

«Очерчена золотом грудь. / Ребёнок сосёт глубоко...
Всем бомбам тебя не спугнуть, / когда ты даёшь молоко...
Я, голову очертя, растаптывал всё на бегу.
Разрушил я два очага, / А третий, дрожа, берегу».
«Хранительница очага» (фрагмент)

*Я со станции Зима убежал,
и с тех пор я всё по свету бегу.
Я детей и тут и там нарожал,
но последнего особо берегу.*

*У мамыши его в золоте грудь,
и ребёночек сосёт глубоко.
Ты, жена моя, про бомбы забудь,
а давай-ка на гора молоко!*

* * *

Читатели предпочитают стихи «прежнего» Евтушенко. У букинистов заполняют целые полки многотиражные издания разных его книг. Даже сборник «Утренний народ», вышедший в 1978 году, лежит стопками, а вот книгу «Идут белые снеги...» 1969 года найти почти невозможно. И тиражи тут не виноваты. Только сами стихи, какие они есть, определяют истинный читательский спрос. В этой книге много сильных стихов. Одно из наиболее любимых мной стихотворений – «Старухи», в котором лирический герой «...высоким обществом старух... допущен был... к чаю». Он говорит: «Старухи были знамениты тем, / что их любили те, кто знамениты... / И для меня, чья речь бедным-бедна, / как дом который кем-то обворован, / почти как иностранная была / забытость чисто русских оборотов». Они выжили в войнах и в лагерях: «К старухам не пристал налёт блатной, / и в стёганках, служивших им без срока, / одёргивали чей-то мат блаж-

ной / надменным взором незнакомок Блока...». Мне эта тема близка, я застала живыми немногих старых интеллигентов и неизменно восхищалась высокой чистотой, выразительностью и красотой их подлинно русской речи. Поэту было с чем сравнивать. Он родился в барачной Сибири... Сегодня, чутко и поэтично затронутая им почти 50 лет назад проблема умирания русской речи ещё более актуальна и, возможно, почти неразрешима.

Дополнение: в Интернете прочла, что композитор Глеб Май создал рок-оперу «Идут белые снежи...». Однозначно – книга продолжает жить.

[189]

*

Мне вспомнилось, что однажды, когда я была в Москве у родственников, к ним пришла в гости мама Евтушенко. Невестка в той семье дружила с Евгением ещё в их школьные годы. Меня покорили манеры и гордая величавость красивой высокой женщины. На мои вопросы о сыне отвечала она спокойно и с достоинством. Уверена, что она вообще никогда и никак не использовала положение матери известного поэта, а была вполне самодостаточна и самостоятельна, как добавляет цельной и сильной личности.

Я спросила у Зинаиды Ермолаевны:

- Как вы думаете, ваш сын – счастливый человек?
- Конечно, нет! – последовал уверенный ответ.

*

Июль 1993 года. Евтушенко вновь юбиляр, ему 60 лет.

Проходя мимо магазина, торгующего телевизорами, я увидела, что там у экранов толпится необычно много людей. Вошла. На двух экранах – Евтушенко. В первый момент подумала: «Вот, не стихает его популярность». Затем удивилась, что не слышу слов. Ещё через мгновение поняла, что все смотрят на другой экран, где показывают *футбольный матч*, и там слышно, как шумит стадион. А поэт пафосно жестикулирует и со страдальческим выражением лица выразительно шевелит губами, но звук-то выключен. У меня тогда сложился стишок, который позабылся. Помню лишь отдельные строчки: «Поэт кривился и страдал... Людьми был полон зал... По телевизору *поэт без звука* выступал». И было у него очень заметно «что-то бедное во взгляде», чего никогда не видела я во взгляде Высоцкого – «бедного нашего гения семидесятых».

Прихватив из дому ставшую редкостью книгу «Идут белые снежи...», отправилась я 17 июля 1993 года на Невский проспект в «Книжную лавку писателей». Там была объявлена встреча с юбиляром – поэтом из моих студенческих лет – «красивым, талантливым...». В тесном магазине он, постаревший, с измученным лицом, стоял по одну

сторону прилавка, а мы – «старушки с седыми чёлками» и лысоватые старички – по другую. Мы теснились и, наклоняясь над прилавком, вслушивались в те, давние стихи. И молодели. И поэт молодец, пусть на краткие мгновенья...

В тот день подарила я, наконец, своё стихотворение «К ЕВТУШЕНКО» тому, когда-то «молодому пышноволосому, горячему», который создал «Бабий Яр» и «Качку», и у которого девушка спрашивала шёпотом: «А что потом, а что потом?» Он размашисто, без окончаний и знаков препинания надписал принесённую мною книгу: «Дорог Генриетте Ляховицк нежно ЕвЕвтуш».

Встреча уже закончилась, но публика расходилась медленно, нехотя... Ко мне обратился некто Марк Вениаминович Левин и рассказал, что много лет собирает *всё о Евтушенко* и у него образовался домашний музей поэта. Посмотрел полученный мною автограф и записал текст стихотворения, подаренного юбиляру. Мы стали говорить о нынешнем творчестве поэта. Я прочла пародию, и она была тоже записана. Иногда я корю себя за неё, не слишком ли жёстко моё высказывание...

Позже попало ко мне напечатанное на машинке жуткое, хулительное, с нецензурной лексикой стихотворение «В. Гафт – Е. Евтушенко». Не знаю, действительно ли написал его Гафт, но из одиннадцати четверостиший решаюсь процитировать лишь одно: «... И бритый смотришься плешивым, / Твой звёздный час давно прошёл, / Сегодня даже то фальшиво, / Что раньше было хорошо». Горько и противно было это читать...

*

Эти воспоминания по старым записям я оформила в 2006 году, уже десять лет живя в Берлине, но нигде не публиковала. Мне казалось, я упустила нечто существенное, не сумела сама понять какое-то *глубинное сомнение* в собственном ощущении личности и творчества поэта. К тому же, появилась «всёзнающая» Википедия – там неоднозначность Евгения Евтушенко «полоскалась» с каким-то подозрительным предубеждением. Многому я не могла поверить, защищённая впечатлениями молодости.

Вновь перечитываю старые его стихи. Вот написанное в 1960 году – «Золушка»: «Моя поэзия, как Золушка, / забыв про самое своё, / стирает каждый день, чуть зорюшка, / эпохи грязное бельё»... Концовка, после бала, такая: «И до рассвета ночью позднею / она, усталая, не спит / и, на коленях с тряпкой ползая, / полы истории скоблит... Она их трёт и трёт, не ленится, а где-то, словно светлячок, / переливается на лестнице / забытый ею башмачок...»

А уж «Бабий Яр» – неколебимо святое! В Еврейской газете в ноябре 2006 года есть фотография: Анатолий Кузнецов и Евгений Евтушенко, Бабий Яр, 1961 г. У Жени – потрясённость на молодом светлом лице. За одну ночь написал он стихотворение. Говорят, что после этого его 28 лет не пускали выступать в Киеве. Сегодня это звучит знаменательно...

В Литературной газете стихотворение опубликовано 19 сентября 1961 года. За это был уволен главный редактор газеты В.А. Косолапов. Началась травля поэта. Но 8 октября 1962 года на Дне поэзии перед огромной молодёжной аудиторией в Политехническом музее Москвы он прочитал «Бабий Яр», вызвав бурю оваций. И ничто уже не могло остановить распространение этого нежелательного для властей всех мастей поэтического прорыва. Стихотворение Евтушенко переведено на множество языков; оно стало основой либретто первой части 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича...

*

Только в марте 2017 года я всё же начала дорабатывать воспоминания о Е. Евтушенко. Обратилась к Интернету, чтобы уточнить, правильно ли запомнила я когда-то имя и отчество мамы поэта. И вдруг наткнулась на поразительное сообщение о том, что некая Людмила Осокина, вдова поэта Юрия Александровича Влодова (по рождению Левицкий, 1932 – 2009) утверждает, что «поэт-графоман Евгений Евтушенко - Гангнус украл у её мужа стихотворение «Бабий Яр». Не стану приводить подробности. Желających знать отсылаю в Сеть. Скажу только, что ночью не смогла уснуть... Подавленность меня не оставляет... Неужели это может быть правдой?!

*

Первого апреля нынешнего года решила мельком посмотреть в компьютере новости. Увидела крошечный чёрный зигзаг – символ срочного сообщения: *1 апреля скончался поэт Евгений Евтушенко*. Чёрный разряд этой маленькой молнии с неожиданной силой ударил в сердце, заставив меня вскрикнуть и заплакать.

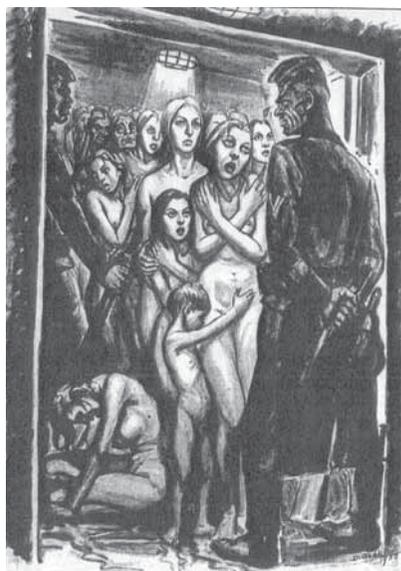
Берлин, 2006, апрель 2017

Карл Абрагам

SONDERKOMMANDO

Существует огромная литература, посвящённая узникам лагерей смерти. Одни повествования ведутся от первого лица, другие написаны в форме интервью, третьи сохранились в виде рукописей. Эти, последние, написанные порою за несколько часов до смерти их авторов, наиболее достоверные источники информации. Речь идёт о летописцах лагерных «будней», которые вели свои записи в условиях строжайшей конспирации, рукописи дошли до наших дней благодаря мужеству их авторов. Эти манускрипты были помещены в бутылки или другие ёмкости и зарыты на территории лагеря. Они были обнаружены и опубликованы в разное время после окончания Второй Мировой войны.

В 2008 году, в Мюнхене, в издательстве Karl Blessing вышла книга Shlomo Venezia «Meine Arbeit im



Sonderkommando Auschwitz»* – первый всеобъемлющий документ такого рода одного из заключённых этой команды, оставшегося в живых.

Термин «Sonderkommando» был введён в лексикон нацистов в сентябре 1942 года. Перевода этого названия на русский язык ни в одном из известных мне немецко-русских словарей не существует. В книге «Свидетели из зоны смерти»** можно прочесть следующее: «Термин Sonderkommando применителен к заключённым, которых заставляли принимать участие в массовом уничтожении евреев». Уклониться от такой «привилегии» было невозможно. Особенность Sonderkommando состояла в том, что все её члены были евреями. Эти люди имели возможность ежедневно наблюдать, и не только наблюдать, беспрецедентную по своим масштабам попытку истребления целого народа. Желая избавиться от свидетелей, эсесовцы через три-шесть месяцев убивали прежних рабочих и на их место набирали новых заключённых, которых в дальнейшем ожидала та же участь, что и предыдущих. В этом заключалась вторая особенность Sonderkommando.

В период с 1942 по 1945 гг. в эти команды было зачислено 2100 заключённых. Из них войну пережили около 100. Из соображений коспирации любой контакт с другими заключёнными был запрещён. И в этом состояла третья особенность Sonderkommando.

Мне хотелось рассказать читателю о некоторых фактах из жизни узников лагерей смерти, малознакомых, либо вовсе неизвестных русскоязычному читателю. Своё знание я черпал исключительно из немецких первоисточников.

Все лагеря уничтожения, за исключением одного, находились на территории Польши. Первые опыты по массовому уничтожению людей проводились в концлагере Хелмно. В сентябре 1941 года там были уничтожены сотни советских военнопленных. Для этих целей использовались выхлопные газы, поступающие в кузов автофургона, превращённого в газовую камеру, в которой находились люди. Эти машины получили название душегубок. Между прочим, нацисты уже имели опыт по уничтожению людей в газовых камерах. В шести психиатрических лечебницах Германии в период с 1940 по 1941 с помощью угарного газа было уничтожено 70 000 душевно больных.

В качестве средства умерщвления людей в Освенциме Ziklon B был впервые применён летом 1941 года.

Лагеря смерти (Освенцим, Майданек, Трешлинка, Собибор, Бельчак, Хелмно) были созданы исключительно для уничтожения евреев. Сам факт того, что судьбу евреев разделили сотни коммунистов, социал-демократов и деятелей профсоюзов, ничего в этом раскладе

не меняет. Сотни тысяч евреев погибли в газовых камерах и сгорели в печах крематория только лишь потому, что они были евреями.

Концентрационный лагерь Освенцим (Auschwitz) был открыт в мае 1940 года, и состоял из двух частей – базового лагеря, расположенного в непосредственной близости от одноимённого местечка и железнодорожной станции. Вторая часть лагеря находилась в трёх километрах от базового, неподалёку от села Биркенау.

Именно здесь, на территории лагеря Биркенау, погибла основная часть европейского еврейства. Чтобы ускорить этот процесс, железнодорожную ветку продолжили от Освенцима до Биркенау. В конце ветки была сооружена огромная платформа, так называемая Judenrampe, находившаяся в непосредственной близости от газовых камер и печей крематория.

Первый транспорт с евреями прибыл в Освенцим в феврале 1942 года из Верхней Силезии. В период с мая по декабрь 1942 года из стран Зап. Европы в Освенцим прибыло 183 270 евреев. Из них в первые же часы в газовых камерах погибли 120 000 мужчин, женщин и детей.

Если в транспорте оказывалось менее 200 заключённых, их «просто» расстреливали, либо умерщвляли уколом фенола в мышцу сердца, при котором наступала моментальная смерть.

В начале апреля 1944 года в Биркенау прибыл транспорт с греческими евреями. Среди них был и двадцатитрёхлетний Шломо Венеция. Из 2500 прибывших 1852 были сразу же отправлены в газовую камеру. Остальные, признанные лагерным врачом физически здоровыми, направлялись в лагерь отбывать трудовую повинность. Перед этим они проходили санитарную обработку: их стригли наголо, сбрасывали волосы с груди и с других мест, затем они принимали душ и подвергались татуировке – лагерный номер наносился на левое предплечье. Разговаривать при этом не разрешалось. Все эти люди, оказывающие услуги при санобработке, были заключёнными, общались между собой тайком на идиш. Даже если бы греческие евреи же-



ляли пообщаться, их бы никто не понял. Это были по происхождению сефардские евреи, говорящие на ладино. Ашкенази их за полноценных евреев не принимали.

После трёхнедельного карантина Шломо Венеция показали его «рабочее место». Им оказалась одна из печей крематория. То, что увидел заключённый, лишило его дара речи. Три человека грузили на металлические носилки мёртвые тела, только что извлечённые из газовой камеры, и отправляли их в горящую печь крематория. На другой день он стал свидетелем массового уничтожения в газовой камере нескольких сот евреев, прибывших с очередным транспортом. Шломо в течение нескольких дней пребывал в состоянии шока, а затем «перестал думать». Он делал то, что прикажут и вскоре превратился в «робота». Те же чувства испытывали и другие члены Sonderkommando. Выдерживали те, кто мог противостоять презрению, злобе, отчаянию, стыду и отвращению.

Шёл 1944 год. Методика массового уничтожения людей была уже разработана до мелочей, а число жертв достигло своего апогея.

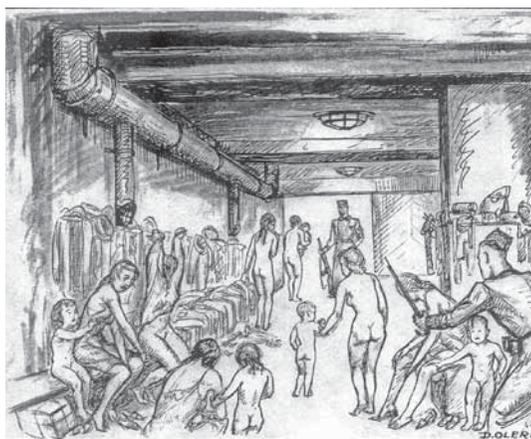
По прибытию транспорта к евреям обращался офицер-эсесовец с просьбой не волноваться и соблюдать тишину: «Сейчас вы все отправитесь в баню и на дезинфекцию, а затем вам будет предложена чашка кофе и немного еды». На самом деле это была всего лишь уловка, чтобы усыпить бдительность обречённых на смерть людей. На грузовиках, а то и пешком, люди прибывали к помещению, на котором можно было прочесть «Раздевалка». Оно было оборудовано скамьями, на которых можно было оставить свои вещи, на уровне



человеческого роста были прибиты крючки с номерами, развешаны воззвания типа «Вошь – смерть твоя», «В чистоте – на свободу» и т.п. Все эти призывы и вся обстановка должны были убедить обречённых, что они действительно находятся в раздевалке, и что через несколько минут их поведут в баню, по эсесовской терминологии – в «сауну». Раздевалка соединялась с газовой камерой, в которой горел электрический свет, а в потолке было вмонтировано нечто, похожее на душевую сетку.

Члены Sonderkommando следили за тем, чтобы процесс раздевания происходил как можно быстрее и, в то же время, не вызывал у обречённых подозрений о готовящейся для них участи. После того, как все разделись, их просили пройти в «сауну».

Нам не дано знать, о чём думали несчастные за несколько минут до гибели. Случайно оставшийся в живых французский художник Олёр, принимавший также участие в работе Sonderkommando, мог



наблюдать процесс поэтапного уничтожения людей от начала и до конца. Он оставил нам целый ряд рисунков, посвящённых жертвам Холокоста. На одном из них запечатлён процесс раздевания заключённых перед тем, как отправиться в газовую камеру: старики, измученные дальней дорогой, покорно выполняют все распоряжения эсесовцев; ребёнок, крепко держащийся за руку матери, с тревогой оглядывается вокруг; мать, которой предстоит сейчас принародно раздеться догола. А ведь эти женщины – еврейки, большинство из которых глубоко религиозны. Стоит напомнить, что по еврейским обычаям считалось предосудительным женщине обнажаться даже в присутствии мужа. Один из летописцев лагеря Освенцим – Биркенау Залман Градовский пишет в своём отчёте: «Kleider ist der letzte Panzer der Frauen» (Одежда – последняя броня женщины). А тут требуют раздеться в присутствии целого сонма враждебно настроенных людей. Эксцессы в связи с этим не часто, но имели место. Вот только один из них – молодая красивая женщина, прибывшая с транспортом из Берген-Белзена, быстро оценив ситуацию в раздевалке, приблизилась к эсесовцу и стала медленно снимать с себя одну вещь за другой. Эсе-

совец плотоядно уставился на юное существо и на некоторое время утратил бдительность. В довершении ко всему женщина, оказавшаяся танцовщицей из варшавского варьете, швырнула в лицо немца свои трусы. Воспользовавшись коротким замешательством, девушка вытащила из кобуры у стоящего рядом офицера пистолет и дважды выстрелила. Эсесовец умер по дороге в лазарет, а офицер остался хромым на всю жизнь. 1800 узников этого транспорта погибло в этот день в газовой камере, а ещё через двое суток после этого происшествия 13 здоровых мужчин, находившихся в карантине, были расстреляны.

Процедура раздевания длится около часа. Кто-то входит первым в

[197]

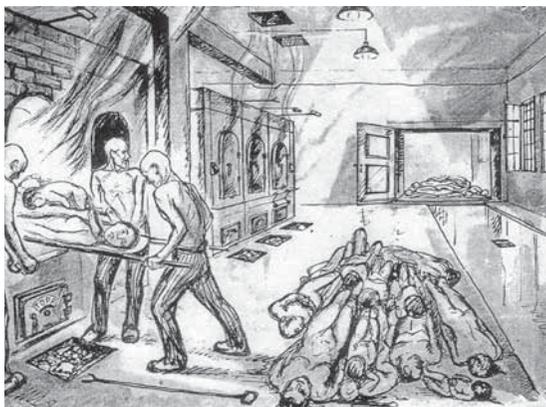


газовую камеру, кто-то – последним. Вход охраняется вооружённым эсесовцем. По мере наполнения камеры теснота в ней становится невыносимой. Люди задыхаются, начинают кричать, молить о помощи – их охватывает ужас; несчастные уже поняли, что оказались в западне, из которой им не выбраться. Газовую камеру заполняют до отказа. После этого охранник плотно закрывает дверь. Эсесовец высыпает внутрь камеры через специальный люк Zyklon B. Все люди в газовой камере погибают через 10-12 минут.

После этого начинается самый трудоёмкий этап работы Sonderkommando. Одна часть занимается уборкой газовой камеры, освобождая её от мочи, крови, кала и рвотных масс, другая – доставляет погибших к печам крематория. Перед этим парикмахеры срезают женщинам волосы, а зубные врачи и техники удаляют у погибших

золотые коронки. Кража даже незначительного количества драгоценного металла каралась смертной казнью. Имел место случай, когда за такой проступок человека живём сожгли в топке крематория. Удалённые золотые коронки переплавляли в слитки. За месяц в Берлин отправляли от 10 до 18 кг. золота.

Советские солдаты, освобождавшие Освенцим, натолкнулись на склад с женскими волосами в количестве семи тонн. Чтобы представить себе масштабы уничтожения людей в Освенциме – Биркенау, приведу данные интендантской службы Красной Армии, обнаружившей на складах базового лагеря 368 820 мужских костюмов, 836 255 женских пальто и платьев, 5525 женских туфель, 13964 ковра, огромное количество детской одежды, не считая зубных щёток и зубных протезов.



До середины 1942 года, когда печей для сжигания людей было недостаточно, их хоронили десятками тысяч в огромных рвах. Летом сорок второго в Освенцим с инспекционной поездкой прибыл рейхсфюрер Гиммлер. Работой своих подручных он в целом остался доволен, но потребовал захороненных людей эксгумировать и сжечь, т.к. зловоние от разлагающихся тел на территории лагеря и в округе было невыносимым. Работа по эксгумации продолжалась около двух месяцев. При этом на свет были извлечены полуразложившимися 107 000 тел, которые тут же сжигались. По воспоминаниям свидетелей, эксгумация трупов и доставка их к печам крематория требовала максимальной отдачи всех моральных и физических сил человека. Что касается заключённых Sonderkommando, выполнявших эту работу, то все они очень скоро были уничтожены.

Год 1944 оказался самым кровавым в истории Освенцима. Он отмечен массовой расправой над венгерскими евреями и уничтожением 4000 жителей Терезиенштадта. Машина смерти работала на полную мощность.

Оборудование к газовым камерам и к печам поставляла по заказам СС эрфуртская фирма «Топф и сыновья». Её инженеры прекрасно знали, чем они занимаются. Замечу, что не прошло и двух лет по-

сле окончания Второй Мировой войны, как фирма «Топф и сыновья» продолжила своё существование: младший из сыновей, Эрнст-Вольфганг, открыл в 1947 году в Висбадене магазин по продаже печей для крематориев.

К началу 1944 года в Венгрии проживало 795 000 евреев. С мая месяца по июль в газовых камерах Освенцима – Биркенау погибло 350 000 человек. Чтобы уничтожить за несколько недель такое количество людей, к работе в Sonderkommando было привлечено 872 человека. Чтобы легче расправиться с массой жертв, нацисты постоянно прибегали ко лжи и обману. Обман начинался с момента прибытия заключённого в концлагерь и заканчивался на пороге газовой камеры. В этом участвовали и эсесовцы, и заключённые Sonderkommando.

Самым подлым и коварным обманом оказалась акция по уничтожению евреев Терезиенштадта. Они прибывали в Освенцим с сентября по декабрь 1943 г. и селились в бараках целыми семьями. Всё это время они находились в карантине. Им позволено было гулять на ограниченной территории лагеря и переписываться с родными. Дневной рацион был очень скуден; он состоял из тарелки баланды, именуемой супом, и куска хлеба. Из 5000 заключённых, прибывших в Освенцим в конце 1943 года, к весне осталось 4000; остальные умерли от голода и болезней. 29 февраля 1944 года лагерь посетил Адольф Эйхман. Он же, теперь уже из Берлина, прислал 2 марта телеграмму с требованием ликвидировать всех жителей Терезиенштадта, находящихся на территории лагеря. 5 марта все они получили возможность написать своим родным открытку о своей жизни в лагере. У организаторов этой акции была просьба, пометить открытку двадцать пятым марта в связи с, якобы, поздней доставкой почты, связанной с цензурой и военными действиями в Европе. Злодейское убийство 4000 жителей Терезиенштадта произошло 8 марта 1944 года. Когда несчастных загоняли в газовые камеры, они пели гимн Чехословакии и «Хатикву», ставшую впоследствии гимном Израиля. Персональную ответственность за уничтожение венгерских евреев и жителей Терезиенштадта понесли комендант лагеря Рудольф Хёсс и ответственный за работу газовых камер и крематориев Отто Моль. Хёсс повешен по приговору польского трибунала 16 апреля 1947 года рядом с крематорием базового лагеря Освенцим. Моль повешен в г. Ландсберге (Бавария) 28 мая 1946 года по приговору американского военного суда.

Наше поствозвание будет не полным, если мы не упомянем о судьбе цыган.

Так, с марта сорок третьего по август сорок четвёртого, в Освенциме было уничтожено более 4000 синти и рома.

Среди заключённых Sonderkommando были и глубоко религиозные люди. В их числе – летописец Лейб Лангфус. Вот что он пишет: «В то время, когда остальные члены Sonderkommando отдыхали, часть верующих евреев молились. Для этого у нас было всё: свитки торы, книги религиозного содержания, тфилины и талес». А вот что рассказал заключённый Sonderkommando Морис Кессельман: «У меня был ремень с пряжкой, на которой было начертано «Gott mit uns». Я надпись стёр и подумал: «Если Бог был с немцами, то где был наш Бог?»

Почти каждый человек, находящийся в неволе, думает о побеге. Тем более из такого лагеря, каким был Освенцим – Биркенау. Либо ты сразу попадал в газовую камеру, либо ты умирал медленно от непомерной работы, от истощения и болезней. Бывало и так, что человек падал от изнеможения на переключках, длившихся часами. Как только человек превращался в «доходягу», от него избавлялись. Непоявление на переключке само по себе – ЧП. Человек мог отсутствовать либо «по болезни», и он, таким образом, подписывал себе смертный приговор, который тут же приводился в исполнение, или же он находился в бегах. В этом случае поднимался на ноги весь гарнизон лагеря и беглеца, как правило, ловили. За одного беглеца лагерь расплачивался 200-ми заключёнными. Но случались и удачные побег. В апреле 1944 года из лагеря бежали два словацких еврея: Альфред Вецлер и Рудольф Врба, которые рассказали о положении заключённых в лагере еврейскому консулу в Швейцарии. Таким образом, слухи о злодеяниях нацистов, творимых в Освенциме, уже летом сорок четвёртого дошли до союзников. Но никто из них ничего не предпринял для того, чтобы облегчить участь заключённых. Вецлер и Врба были не единственными заключёнными, которым удалось спастись. Если эти люди рассказывали своим близким об ужасах лагерной жизни, то им часто никто не верил: «Не слушайте его, такого не может быть, он просто помутился рассудком», и при этом крутили пальцем у виска.

Неоказание помощи извне привело к тому, что среди заключённых постепенно зрела мысль о вооружённом восстании, которому было несколько предпосылок. Во-первых, 11 июля 1944 года резко сократилось поступление венгерских евреев. Ещё в феврале месяце того же года, под предлогом оказания помощи местным эсесовцам, в Майданек было отправлено 200 человек из Sonderkommando Освенцима, что само по себе симптоматично. Во-вторых, росло польское сопротивление, как внутри лагеря, так и за его пределами. И, в-третьих, у заключённых была возможность самим изготавливать взрывные устройства, используя порох, который доставляли с соседней фабрики женщины-заключённые из-под полы, небольшими порциями. Начало восстания было запланировано на 28 июля 1944 года.

Осуществить задуманное не удалось, т.к. в этот день из Майданека в Освенцим прибыл транспорт с 837 евреями. Договориться о новой дате восстания с отдельными представителями польского сопротивления не удавалось по разным причинам. Одна из них – юдофобские настроения среди этнических поляков. Это проявлялось, в частности, при попытках побега евреев из лагеря.

Случилось то, что должно было случиться. У одного заключённого Sonderkommando не выдержали нервы и он ударом молотка убил эсесовца. Его звали Хаимом Нойхофом. Это случилось 7 октября 1944 года. Началась беспорядочная стрельба. В том числе по крематориям. При этом, один из них был сожжён. Несогласованность в действиях отдельных групп сопротивления привела к тому, что восстание захлебнулось, едва успев начаться. Расправа последовала незамедлительно. Все участники восстания были уложены на землю «лицом вниз и руками за спину». При этом каждый третий из них был расстрелян выстрелом в затылок. Потери СС составили – трое убитых и 12 раненных. Восставшие потеряли 452 человека.

По мере приближения частей Красной Армии к бывшей польской границе, нацисты стали постепенно сворачивать свою деятельность. 25 ноября начался демонтаж одного из крематориев. Он осуществлялся силами заключённых Sonderkommando. По мере того, как работы становилось всё меньше и меньше, каждый из них всё чаще задумывался о своей судьбе. Они знали почти наверняка, что, заматая следы, эсесовцы постараются избавиться от свидетелей.

Эвакуация лагеря началась 17 января. Заключённым Sonderkommando было приказано укрыться на время эвакуации в одном из барakov лагеря. Замысел нацистов был прост – в последний момент поджечь барак и, таким образом, одним махом избавиться от свидетелей. Члены Sonderkommando разгадали нехитрый приём фашистов. Они незаметно влились в колонну заключённых, покидавших лагерь.

27 января 1945 года около трёх часов дня части Красной Армии вошли в Освенцим. Они застали лежащими на земле в снегу 600 мёртвых тел. И даже в день освобождения лагеря нацисты сожгли в соседней деревушке Фюрстенгрубе барак, в котором было 250 немощных стариков и женщин. Спаслось 11 человек, остальные – сгорели заживо. К приходу Красной Армии в лагере оставалось около 9000 заключённых, которые сами передвигаться уже не могли.

Колонна заключённых, состоявшая из семи тысяч человек, направлялась в австрийский Маутхаузен, где им предстояло работать на подземном заводе по изготовлению боеприпасов. На дорогу заключённым выдали три пайки хлеба и кусочек маргарина. Колонну

замыкал отряд эсесовцев. Если кто-то не мог двигаться дальше и падал от изнеможения, его расстреливали. Таким образом, на дорогах Польши, Чехословакии и Австрии остались лежать более 3000 заключённых. Этот семисоткилометровый переход вконец измученных людей остался в истории Холокоста как «Марш смерти». На каждом привале эсесовцы пытались выяснить, нет ли среди идущих бывших членов Sonderkommando. Из чувства самосохранения таких, разумеется, не находилось. Признание самого факта участия в работе этой команды было бы равносильно самоубийству. Кроме этого, эсесовцы следили за тем, чтобы никто из заключённых не сбежал. Из семи тысяч вступивших на дорогу смерти, сумели сбежать только 9 человек. Четверо из них свидетельствовали против эсесовцев на заседаниях франкфуртского суда в период с 1963 по 1976 годы.

Вместо Эпилога

Шломо Венеция, прибывший в Освенцим в начале апреля 1944 года с греческим транспортом, работал в течение восьми месяцев в Sonderkommando. В конце января 1945 года он по этапу с группой заключённых прибыл в Австрию. Там он работал в каменоломнях посёлков Мэлка и Эбензее (рядом с Маутхаузенем). Жили заключённые в бараках, которые не отапливались. Спали на трёхъярусных нарах по двое – места на всех не хватало. Шломо пришлось делить нары с одним заключённым, который постоянно кашлял.

6 мая 1945 года армия союзников освободила Маутхаузен. Самое печальное состояло в том, что половина людей, доживших до освобождения, умерли от заворота кишок, связанного с непомерным употреблением пищи.

При первом же врачебном осмотре у Шломо был установлен туберкулёз лёгких. В течении семи лет он лечился в лучших клиниках и санаториях Италии. На одном из курортов он познакомился со своей будущей женой, состоявшей там на службе. Вскоре они поженились и поселились в Израиле. Они родили троих сыновей. Такова краткая история одного из немногих членов Sonderkommando, переживших войну, – Шломо Венеция.

Правда о злодеяниях нацистов в лагерях смерти была более полувека неизвестна широкой общественности. Если вы обратите внимание на библиографические данные, то сможете убедиться в том, что первые публикации, посвящённые массовому уничтожению евреев в Освенциме – Биркенау относятся к 1999 году.

Раньше этих людей никто не слышал, точнее, никто не слушал.

Нельзя было даже представить, что такие зверства могли иметь место. Выжившие заключённые Sonderkommando десятилетиями думали не только о безвинных жертвах, погибших в газовых камерах, но и о своей, пусть вынужденной, роли в этом процессе. Почти все они страдали от бессонницы, депрессии и одиночества. И лишь спустя годы они начали рассказывать о себе, о пережитом.

Текст иллюстрирован очевидцем событий художником Д. Олёром

[203]

Литература:

Shlomo Venezia, *Meine Arbeit im Sonderkommando Auschwitz*, Karl Blessing Verlag, München, S. 271, 2008

Eric Friedler, Barbara Siebert, Andreas Kilian, *Zeugen aus der Todeszone, Das jüdische Sonderkommando in Auschwitz*, S. 412, Lüneburg, 2002

Gideon Greif «*Wir weinten tränenlos...*» Frankfurt am Main, Januar 1999, 11. Auflage, S. 383

Alexandre Oler, *Vergessen oder vergeben, Bilder aus der Todeszone Lüneburg*, 2004

Мина Полянская

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ МАРТА – СКРЫТОЕ ЧУДО

Памяти Фридриха Горенштейна

*«Скрипи, перо. Черней, бумага.
Лети, минута».*

И. Бродский

В конце девяностых Ф. Г. решил написать свой первый детектив о браконьерской добыче и контрабанде чёрной осетровой икры в устье Волги. Зона Астрахани, полагал он – Клондайк не только для криминальных магнатов, но и для «крими». Он опасался, что его опередили, и что московская пишущая мафиозная братия, пользуясь туманностью переходного времени, уже выслала на разведку в бесконтрольную Астрахань своих агентов.

Автор тысячестраничных романов узнал от редакторов, что настало время маленьких романов, страниц на двести, но текст его детектива угрожающе разрастался, и через некоторое время он объявил, что у него получается преогромная книга, и что даже его самого, с его тяготением к «объемным» произведениям, это настораживает. После «Ивана Грозного», на которого у него ушло восемь с половиной лет, он не хочет писать больших романов. Между тем, в новом романе оказалось много ответвлений – о скифах, сарматах, славянах, поскольку глубины истории тяжким грузом лежат на современности, а писатель ощущал живой след прошлого в своём настоящем бытии. Ему необходимо было видеть время в пространстве, а также ощущать, что время и пространство – категории единой вечности. Написав около 200 страниц, он вдруг прервался, чтобы, «копаться» по Сталину. Он узнал, что Сталин писал стихи, эта пикантная подробность дикта-

тора интересовала его. Выяснилось, что Сталин даже публиковал их под псевдонимом Сосал, или Сопилка. Так, например, 29-го октября 1895 года стихи молодого поэта появились в газете «Иберия», а позднее – и в антологии грузинской поэзии. В романе-детективе, приобретающему всё более политический характер, писатель уделил особое внимание ущербному детству Сталина. Поскольку отец будущего злодея был сапожником, Ф. Г. вдруг заинтересовался сапожным де-

[205]



Фридрих Горенштейн

Фото И. Малкиэля

лом, и в особенности – чем отличается сапожный молоток от обычного. Оказывается, у сапожного молотка особая форма, связанная с его особым назначением. Этим молотком нужно ещё и «околачивать» кожу. Например, затянутую на колодку заготовку сапога околачивают этим молотком. А если околачивать её обычным молотком, то возникнут вмятины, разрывы, трещины и другие неприятности. Поэтому ударная часть сапожного молотка имеет круглую, полированную поверхность.

Зачем всё это нужно было? Я приведу образец приёма выдвинутых смыслов в одной повести, где писатель высказал своё принципиальное несогласие с традиционным истолкованием евангельского изречения: «Скорее верблюд пройдёт в игольное ушко, чем богатый войдёт в Царство Небесное». По версии писателя Христос предложил отказаться от богатства только «богатому юноше», который понравился ему, и потому пригласил пойти вместе с ним избранныческим путём апостола. К остальным мирянам приглашение Христа не относится. Если же остальные примеряют Его слова к себе, то, стало быть, они претендуют на святость и апостольство.

Для того чтобы «выдвинуть» смысл с игольным ушком, писатель действовал как экспрессионист. Игольное ушко становится сцени-

ческим центром, выходит на передний план. На трёх страницах, не опасаясь длиннот, он рассказывает, как изготавливается игла. И особенно, игольное ушко!

«Но долго пришлось повозиться с игольными ушками. Шлифовка на шлифовальном круге должна быть нежной, чтоб отшлифовать середину проволоочки, то место, где пробивается ушко на маленьком штампике».

[206]

Писатель с придиричивым вниманием рассматривает нежное игольное ушко, примеряясь к нему: «пройду – не пройду?»

Да, но зачем ему понадобился сапожный молоток и в особенности его деликатная деталь – ударная часть сапожного молотка, имеющая круглую гладкую полированную поверхность? Здесь, как видно, намечалась та же экспрессия, хорошо знакомая мне по другим его текстам. Вероятно, удары (!) Виссариона Джугашвили этим молоточком по коже... повлияли на мальчика Иосифа, уязвили, потрясли младенческую душу, что, в свою очередь, отразилось на Большой истории.

«Не лучше ли поделить роман на две части?» – спрашивает писатель. Помню, мы были тогда за городом у озера Ванзее – живописнейшее место, располагающее к решению судьбоносных литературных вопросов. Он настоятельно просит меня и моего мужа Б. держать в секрете название романа – «Кримбрюле», позаимствованное в одной астраханской комсомольской газете. В газете так гениально назван был раздел криминальной хроники.

«Брюле» в переводе с французского – нечто горелое, жжёное, а под словом «крим» подразумевался криминал. Стало быть, расшифровка названия приблизительно такова: «Криминальный пожар» – название, подходящее для русской, и, тем более, постсоветской истории.

Одна из «половинок» романа стала называться «Кримбрюле, или верёвочная книга». Был ещё и подзаголовок: «Уголовно-антропологический мексиканский роман-комикс с мемуарными этюдами». Так записано в моей записной книжке китайского стиля, с пагодой и джонкой на обложке, которую писатель мне подарил с дарственной надписью. Там записан ещё и эпиграф: «Слова улетают. То, что написано, остаётся». Латинское изречение». Итак, к названию «Кримбрюле» прибавилось ещё одно: «Верёвочная книга». Что касается второй «половинки» романа, то писатель не сразу решил, что с ней делать. «Может, пойдёт на запчасти», – сказал он.

Оказывается, в самом названии «Верёвочная книга» уже зашифрована «качественность» книги. Причём, «качественная» книга должна ещё быть рассчитана на широкого читателя, то есть «Верёвочная

книга» – не что иное, как бестселлер. А что считать бестселлером, определяли в старой Севилье рыночные торговцы. Заметим: не учёные, не профессора, а именно торговцы, хорошо знающие вкусы потребителя. Опытные торговцы вешали книги хорошего качества на верёвках рядом с окороками, колбасами, сельдью, копчёными сырами, балыком и прочей снедью. На признанные авторитеты торговцы внимания не обращали. У Мигеля де Сервантеса, например, только «Дон Кихот» удостоен был чести попасть на ярмарочную верёвку, да и то – не в Севилье, а в Гренаде, что было менее почётно. Остальные же книги его никогда не удостоились чести висеть на верёвке рядом с мясом, фруктами, овощами и прочим хорошим товаром.

Эти мои сведения о висящей на верёвке книге – исключительно со слов Ф. Г. Нигде я об этом не читала и предупреждаю: писатель, подобно многим его коллегам-предшественникам, был блестящим мистификатором. А что до Сервантеса, то он сам подталкивает нас к фантазиям такого рода. В шестой главе «Дон Кихота» оценку его «Галатеи» даёт не литератор, а простой цирюльник. И он, цирюльник, книгу Сервантеса – не одобряет!

Глядя на растущую рукопись, писатель жаловался, что стал плохо разбирать свой собственный почерк, как Лев Толстой, который на следующий день не мог прочесть им же написанное. Он и раньше говорил, что почерк – проклятие его жизни. Что у него нет, как у Толстого, Софьи Андреевны, которая семь раз переписывала «Войну и мир», а средств на содержание секретаря тоже нет.

Вот роман уже перевалил за семьсот и приближался уже к восьмистам и так далее – страницам! Надо сказать, что у моего писателя почерк был и в самом деле нечитаемым, но в то же время рукописи не смотрелись торопливой скорописью. Напротив, каждое слово он вырисовывал, как иероглиф, но на свой, непонятный другим, манер. Процессу писания чернилами он придавал значение таинства, мистерии. В одном его романе летописец-дьякон Герасим Новгородец произносит монолог об особом удовольствии самого процесса писания: «Люблю я красоту дела письменного – чернильницу, киноварь, маленький ножик для подчистки неправильных мест и чинки перьев, песочницу, чтоб присыпать пером непросохшие чернила, а пуще всего – сидеть на стульце, положив рукопись на коленях, и писать тонкословием со словами приятными...»

Это случилось 14 марта 1999 года. Некто вмешался в писательскую работу и судьбу Ф. Г. Он, как обычно, сидел за письменным столом, писал, разумеется, чернилами, поскольку только в процессе работы

по старинке, то есть пером и чернилами, зарождаются идеи и чувства.

Неизвестный вырвал из его рук чернильницу и опрокинул на ковёр, когда он собирался отвинтить крышку, чтобы заправить чернилами авторучку. Даже не вырвал, а сильным толчком выбил чернильницу из рук. Ф. Г. вспомнил, конечно, известную легенду о немецком реформаторе Мартине Лютере, жившем в Виттенберге, что неподалеку от Берлина. Лютер переводил Библию на немецкий язык и увидел перед собой чёрта, который запустил в него чернильницей, а она пролетела мимо и ударилась о стену. На стене замка до сих пор сохранилось чернильное пятно, которое показывают туристам.

А у Ф. Г. осталось большое чернильное пятно на ковре. Он показывал мне это пятно и повторял, что на рукопись не пролилось ни капли чернил. На рукопись – не пролилось! И всё рассказывал мне, что сидел за столом, писал роман. В отличие от Лютера, чёрта он не видел, и не видел даже пуделя, в отличие от Фауста, который, как мы помним, тоже переводил Святое Писание. Никого, как ему казалось, он не искушал, не провоцировал, в отличие от Лютера, который провоцировал нечистого своими текстами. Некто был не видением, как у Лютера и Фауста, а силой. И эта сила выбила чернильницу из рук. (ФАУСТ: «Не Сила ли – начало всех начал?»)

Возможно, нечистый, не сумев писателя оклеветать перед Богом, выбил у него чернильницу, дабы неповадно было дальше писать. А Ф. Г. в тот момент, так же, как Лютер и Фауст, работал над книгой. Только не как теолог-переводчик, а как литератор-комментатор. В начале нового романа он сравнивал «Введение» Достоевского в «Записках из Мёртвого дома» с «Введением» Пушкина в «Повестях Белкина». Обнаружил переключку Александра Петровича Дворянчикова с Иваном Петровичем Белкиным. Что там могло не понравиться нечистому?

Может быть, сам несмываемый процесс писания чернилами, как писали старые мастера?

Неповторима графика писаний Гоголя, Толстого и, в особенности, Пушкина. Страничку пушкинского черновика можно было бы и в рамку вставить.

Так вот, именно история с чернилами по мере ухудшения здоровья писателя превратилась в миф, который стремительно разрастался и, хотя он, по-прежнему, упрямо твердил, что на рукопись чернила не пролились, стал побаиваться романа, всё более сторонился его, (роман и в самом деле не получался), а в конце жизни отказался от него. Так на моих глазах плелась «Верёвочная книга», содержание которой я знаю по рассказам писателя и по продиктованным им на магнитофон главам.

Он стал относиться к Софье Андреевне настороженно, утверждал, что она «заставляла» Толстого писать романы, когда у Толстого совсем уже не было сил. «Война и мир» выпотрошила его всего, подорвала здоровье. Сниткина (так он называл Анну Григорьевну Достоевскую) в отличие от Софьи Андреевны, пользовалась его расположением. Достоевскому с женой повезло. Настоящий друг! Сниткина не только любила писать под диктовку Фёдора Михайловича, а считала эти записывания лучшими часами своей жизни. В письме к своему другу Наталии Д., «любезнейшей Наталии Леонидовне», Ф.Г. писал:

«Не скрою, Анна Сниткина мне весьма была бы нужна. Близкий человек и помощница. Без Сниткиной Достоевский не написал бы «Братьев Карамазовых»... Мне звонят отовсюду, из Нью-Йорка даже: «Ах, какой вы... Ах, какой вы талант...» Меня эта болтовня раздражает. Сниткина – не появляется. А псевдосниткина – это ещё хуже, чем быть одиноким»

С Наталией Д. писатель познакомился в Хемнице, в Пушкинском обществе, где читал свой тридцатилетней давности рассказ, неугасающей, а наоборот, всё возрастающей энергии и силы. Наталия, германист по образованию, собрала читателей за день до приезда писателя в Пушкинском обществе и прочитала им не менее замечательную его повесть о девочке, родители которой были убиты в пятьдесят третьем году уголовниками, выпущенными по амнистии. Эпистолярный роман Наталии с Писателем продолжался до самых его последних дней. Собственно, Наталия и помогла со своим знанием немецкого языка поместить Ф. Г. в достойную берлинскую больницу, где его и лечили, и ценили. А после смерти мужа Наталия сделала мне некое телефонное признание. Оказывается, именно она готова была, как Сниткина, если бы это было возможно, записывать тексты писателя под диктовку с большим даже интересом и желанием.

Ф. Г. сравнивал труд романиста с тяжёлой физической работой именно каменщика, укладывающего кирпичи один за другим. Ему нравился образ каменщика. Он даже наклонился однажды, артистично изобразив нам, как снизу берёт камень и кладёт его в воображаемую стену Храма Истины – камень за камнем, так что показалось даже, что ему только не хватает фартука вольного каменщика Храма. Возникал образ поэта, использовавшего в своих «краеугольных», «каменных» текстах, архитектурную фразеологию, полагавшего, что строить, бороться с пустотой, гипнотизировать пространство можно только во имя трёх измерений, и что мироощущение для творца – орудие, как молоток в руках каменщика и потому назвавшего свой первый сборник стихов «Камень», отдавая дань другому «камню» другого поэта, его стихотворению «Probleme».

Ф. Г. демонстративно подчёркивал, что труд романиста прозаичен, хотя и открывает новые горизонты и сопряжён с чудотворством. Он старался всячески противопоставить такую работу романтическому мифу о поэте-маге, певце и боговдохновенном импровизаторе. В какой-то степени, эта «прозаичность» и была тем самым противоречием между ним, классицистом, рассматривающим искусство как ремесло со своим каноном и золотым сечением, и шестидесятниками-романтиками, этот канон разрушавшими.

Вопрос художественности книги непрост, так же, как и «художник ложный – художник истинный». «Всамделишная» литература ущербна. И – добавлял писатель: – Достоевскому с его излишним натуральным психологизмом или же Толстому с его натуральным биологизмом требовались усилия, чтобы преодолеть власть фактов».

История с пролитыми четырнадцатого марта чернилами оставила в его душе такой тягостный след, что по прошествии трёх лет и в больнице он об этом вспоминал, уверяя себя и других, что этот роман убил его. И более того, он посчитал роман навеянным злой силой, говорил, что ни в коем случае его нельзя завершать, править и, тем более, издавать. А на смертном одре ежедневно заявлял: «Из-за этого романа я заболел! Я отказываюсь от него». И что нужно как можно скорее написать пьесу, о которой давно мечтал – о Пушкине.

Для меня остаётся загадкой – читал ли Ф. Г. рассказ аргентинца Борхеса «Скрытое чудо» об ускользающей субстанции времени? Драматургу Яромиру Хладику перед казнью приснился вещий сон тоже четырнадцатого марта (!) о предстоящей скорой смерти, но было (во время казни) дано свыше дополнительное время для завершения пьесы. Ф. Г. не любил месяц март, а он родился в марте и боялся, что умрёт в марте, что и произошло на самом деле.

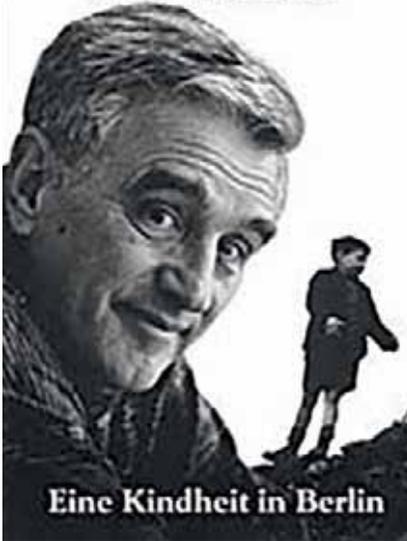
Я, перед смертью писателя, повторяющего, что нужно успеть написать пьесу о Пушкине, и что надо ещё что-то успеть написать, вспоминала сологубовские молитвенные речи: «У тебя, милосердного Бога, много славы, и света, и сил. Дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил!». Тема трагедии неосуществлённого – это то, о чём мой друг – писатель думал и говорил до последнего дня своей жизни.

ОДНАЖДЫ В БЕРЛИНЕ...

Оказавшись в Германии, мои соотечественники, попробовав на зуб «крепость немецкого», приобретают на блошиных рынках (они так и называются Flohmarkt) книги Гонзалека, написанные незамысловато. Чтение помогает освоить азы немецкого языка. Сюжеты их довольно примитивны, так что размышлять о книгах Гонзалека мне бы и в голову не пришло. Зато велико было желание поговорить о книге Михаэля Дегена «Не все были убийцами».* Книгу рекомендовала Мариана Швенк, преподаватель языковых курсов при евангелической академии им. Меланхтона, которые я посещала на пятом году иммиграции в надежде усовершенствовать свой немецкий. По её совету наша группа дружной стайкой отправилась в книжный магазин в центр, каждый купил книгу, и в течение года мы работали с ней, продвигаясь от эпизода к эпизоду. Мариана растолковывала непонятные выражения, некоторые – чисто берлинские. Мне, дочери берлинца, было особенно интересно их узнавать. Книгу с постраничными пометками храню поныне.

Сегодня, возвращаясь к прочитанному, я не забыла своё удивление, смешанное с удовлетворением, когда по приезде в Кёльн в 1995-м узнала о том, что всех школьников старших классов NRW по распоряжению премьер-министра земли Иоханнеса Рау обязали посмотреть фильм Спилберга «Список Шиндлера». Я-то его видела ещё до отъезда в Германию. Знакомство с ним мыслилось Рау как, своего рода, «прививка» от антисемитизма и неонацизма. Нашу Мариану никто не уполномочил, она сама поняла, что знакомство с книгой Дегена пойдёт на пользу евреям, эмигрировавшим в Германию, облегчит их жизнь в ещё недавно проклинаемой ими стране.

Michael Degen
Nicht alle
waren Mörder



Eine Kindheit in Berlin

Кто такой Михаэль Деген? О чём его книга? Оказалось, Михаэль Деген – личность в Германии достаточно известная: он и сценарист, и актёр, работавший с Ингмаром Бергманом, Петером Цадеком, Жоржем Тавори, снимавшийся и в большом кино, и в телесериалах. Немецкой публике он запомнился как участник популярных телепередач и в ролях героев фильмов «Бомбы», «Тайное дело Рейха», где он сыграл Адольфа Гитлера. Его не забывают по сей день. В 2003 году он снялся в фильме «Бабий яр», а в 2012-м фон Тротта пригласила его в фильм «Ханна Арендт» о судебном процессе над Эйхманом.

Такая приверженность навсегда, казалось бы, отошедшим временам неслучайна. Как заметил Экзюпери, все мы – родом из детства. У книги Дегена есть подзаголовок «Детство в Берлине». Детство автора, родившегося в 1932 году в семье евреев из Хемница, принадлежавших к среднему классу, пришлось на лихие времена. Времена ушли, остались воспоминания. Книга Дегена – ещё одно свидетельство о Холокосте, хотя в ней отсутствуют переключки на лагерном плацу, бараки, газовни и печи. В концентрационный лагерь Заксенхаузен из всей семьи попадает осенью 1939 года лишь отец Михаэля, владелец магазина шерсти и трикотажа, маленький щуплый человечек, отчаянный юморист и весельчак, с сумасшедшинкой, свойственной гениальным еврейским чудачкам. После зверских избиений уже в феврале 40-го его препровождают прямиком на кладбище.

Его красавица-жена, женщина отважная и решительная, оставшись с двумя сыновьями, находит силы бороться за жизнь. Ей удаётся этой же весной отправить старшего в Швецию, откуда он попадёт в Палестину. С ней в Берлине остаётся Михаэль. Вдвоём они перебиваются, как могут, оба работают, даже десятилетний Михаэль, после закрытия еврейских школ моет больных, таскает параша и покойников в туберкулёзном отделении еврейской больницы. В книге подробно

рассказано о том, как выживали Михаэль с матерью в течение двух лет, начиная с 43-го. Почему выбраны эти годы? Потому что в 1943 году состоялась последняя большая акция гестапо. Евреи Берлина в течение суток были схвачены и этапированы на восток, в Польшу, где к их «приёму» уже всё было готово.

Одиннадцатилетнему Михаэлю и его матери удалось избежать ареста, но они в одночасье лишились крова и имущества. Два года жизни на лезвие ножа. Ежечасный риск быть выданными, схваченными, депортированными в Аушвиц или убитыми во время непрерывных налётов союзнической авиации. В книге переданы ощущения и чувства быстро взрослеющего ребёнка. Читателю предложена необычная, особая точка зрения. Возможно, диапазон обзора у мальчика, который ограничен в передвижении, в общении, к тому же глядит на мир украдкой, чаще из убежища, из «подполья», не столь широк, но зато это непосредственный и честный взгляд. Этой книге безусловно веришь.

Как же удалось выжить еврейке Анне Деген и её сыну, живущим без документов, под чужим именем Гемберт, под носом у нацистов, у гестапо? Согласитесь, что это – чудо. Да, не раз их выручали находчивость и самообладание, часто на помощь приходил случай или удача, называйте, как хотите. И всё же чудо сотворили реальные люди, простые немцы, подчас совершенно чужие, незнакомые, помогавшие нашим героям, рискуя собой. Все они знали или догадывались, кому они помогают. И все они ходили по лезвию ножа.

Главная спасительница, их постоянный ангел-хранитель – Лона, жена трёх мужей, чьи фамилии она сохраняла за собой как память. Последний был явным уголовником с уклоном к воровству и по этой причине периодически сидел в тюрьме. Лона служила у Дегена. Эта простолюдинка боготворила своего хозяина. Когда началась ариизация еврейских предприятий, она по договорённости с Дегеном стала владелицей его магазина, делясь с ним, а затем с его вдовой половиной дохода. Именно Лона, начиная с 43-го года, подыскивала им укрытия, снабжала продуктами, деньгами.

Первоначально она поселила мать и сына в престижном районе у Людмилы Дмитриевой, высокомерной непроницаемой женщины, не выпускавшей сигарету из рук. Четверть века назад она бежала из Петрограда, где семья её была уничтожена большевиками. Они провели у Людмилы около полугода. Когда дом Дмитриевой на Гекторштрассе разбомбили во время очередного налёта, Лона укрыла их в пригороде Нойкёльн в щитовом домике своей знакомой в каком-то садовом товариществе, где несчастные голодали и промерзли до костей. Хо-

зьяка садового домика тоже знала правду, но не возражала. Однако с приближением весны нужно было уходить, жильцы других домиков могли вот-вот явиться обихаживать огороды.

Людмила Дмитриева, нашедшая просторную квартиру на Байришенштрассе, согласилась принять их. Пришлось тащиться пешком через весь Берлин, они боялись воспользоваться метро – там часто проверяли документы. У Дмитриевой они провели несколько спокойных недель, хотя бомбили район нещадно. Но однажды на улице неподалеку от дома мать опознал еврей, помогавший гестаповцам отлавливать уцелевших соплеменников. Возможно, надеялся услугами такого рода сохранить себе жизнь. В Нидерландах, где погибло 110 тысяч евреев, за каждый результативный донос платили 75 гульденов, а во Франции – 100 франков.

Анна проявила удивительное хладнокровие, и чудеса изворотливости и смогла убедить гестаповцев в ошибочности их подозрений. Смерть прошла мимо, но она поняла, что им нужно покинуть это убежище. Несколько дней они не выходили из дома. Чтобы заглушить голод, пили воду. Выручила, как всегда, Лона.

На этот раз она свела их с Карлом Хотце, сорокалетним садоводом, который успел отбыть двухлетний срок в Бухенвальде за прокоммунистические взгляды. В гестапо на допросе ему выбили глаз. В лагере он находился как уголовник и подружился с мужем Лоны, сидевшим за воровство. Так возникло это полезное знакомство. Коммунист-огородник. И такое бывает! Хотце поселил Анну с сыном у старухи Тойбер, у которой кроме трёх дочерей и их законных, но чаще незаконных мужей, награждавших её внуками, проживал ещё и сын. Анна сразу поняла, что их новое убежище – настоящий притон, но выбирать не приходилось. Здесь их прятали небезвозмездно. Платила Лона. Женская половина семейства была посвящена в тайну Дегенов, мужчинам же её не доверили, хотя молодой Феликс Тойбер сам до того был похож на еврея, что его то и дело задерживали на улице как Judensau (еврейскую свинью). Приехав в отпуск с фронта, он не снимал солдатского мундира во избежание недоразумений. Догадавшись о том, кого приютили в их доме, молодой фронтовик был потрясён до глубины души, и Лона сочла необходимым срочно перевести своих подопечных от греха подальше.

Дегены нашли приют в Вальдесру, в уютном деревянном домике Кэте Нихоф. Хозяйка представила их соседям как дальних родственников из Берлина, от дома которых остались руины. Работая шеф-поваром в столовой комбината, на котором трудились деревообделочники-чехи, Кэте дважды в неделю, приезжая на мотоцикле, снабжала

подопечных продуктами. Авиация союзников обходила их пригород стороной. Их навещали Лона и длинный, тощий, лысый, одноглазый Хотце, колесивший по Берлину и окрест него на своём стареньком велосипеде. При этом происходил товарообмен: Лона привозила сигареты, Хотце – овощи, а Кэте – сало, маргарин, Жизнь настолько наладилась, что из Берлина раз в неделю стал приезжать школьный учитель Ханс Кохман, полуеврей, пока избежавший депортации. Он вёл с Михаэлем настоящие занятия.

[215]

Весной 44-го Михаэль познакомился со своим одноклассником Рольфом и его отцом, машинистом паровоза Редлифом, обитавшими неподалёку в своём доме. Знакомство началось с драки, но вскоре они стали «не-разлей-вода», членство Рольфа в гитлерюгенде этому не мешало. Более того, старый Редлиф сразу догадался, что Михаэль и его мать – евреи, но не запретил сыну общаться с ними, более того – сам свёл знакомство с Анной. А ведь в таком возрасте как важно мальчишке иметь настоящего друга! Принимая гостей у себя за чашечкой жидкого кофе, но зато с вкусной колбасой, привезённой из Польши, Рэдлиф намекнул, что оставаться им тут небезопасно – соседи стали любопытствовать.

Женщины не вняли предупреждению, но внезапный арест Эрны Нихоф, сестры Кэте, вынудили мать с сыном спешно убираться из Вальдесру. На этот раз их приютил Хотце. Дом его в берлинском пригороде Каульсдорф был небольшой, но в два этажа. Он поселил их наверху. Поскольку напротив жил нацист, похвалявшийся, что пил с самим Герингом, им приходилось соблюдать осторожность, не подходить к окнам, чуть ли не проползая под ними, чтобы не выдать своего присутствия. Со временем Хотце осмелел и даже сумел пристроить Михаэля на работу к своему другу, в прошлом социал-демократу Гюнтеру Радни, владельцу птицефермы, клиентами которой были чины из СС, «золотые фазаны», как их именовал хозяин. Лона раздобыла для Михаэля форму гитлерюгенда, и клиенты частенько дарили услужливому пареньку кое-что по мелочам, а главное – он здесь отъелся и даже кое-что приносил матери. Но «счастье» продлилось не более двух месяцев. Неожиданно на рассвете в дом Хотце нагрянуло гестапо, и его свояченица Марта Шеве, разбудив Анну и Михаэля, велела им прыгать в окно, пока «гости» шарили на первом этаже. Спаситься удалось, мать, правда, выпрыгнув со второго этажа, подвернула ногу, но куда идти?! Хотце и его жена были арестованы, но не за укрывательство евреев, а за распространение антинацистских листовок. Их отправили в концентрационный лагерь Маутхаузен, что в Австрии. Об этом Дегены узнали позже. Марту не тронули.

Оказавшись вновь без крова и пищи, Анна и Михаэль притащились к Радни, но он не решился оставить их. Накормив и перебинтовав Анне распухшую ногу, посоветовал пробираться в Вальдесру. Ночевали они в траншеях, вырытых для укрытия от осколков во время бомбёжек, благо лето стояло тёплое. Мать двигалась с трудом. На третью ночь добрались до Вальдесру. Дом Кэте был тёмным и пуст. Много позже выяснилось, что она была арестована, как и Эрна, которую за помощь евреям замучили в Равенсбрюке. Кэте попала в воровстве в столовой, как уголовница она выжила. Всё это открылось после войны.

Михаэль решил постучать в дом Редлифов. Тот был один, Рольф проходил военную подготовку: членов гитлерюгенда учили стрелять из гранатомётов. Михаэль соврал, что их родственников разбомбило. Мать повредила ногу, выбираясь из-под завала. Они вновь бездомные, а дом Кэте заперт. Когда вечером Рольф в форме юнгфолька вернулся домой, он был потрясён гостеприимством отца. Тот уложил фрау Грембер на кушетку, изготовил для её больной ноги шину, прикладывал холодные компрессы и явно был рад отсутствию Кэте. Мать, оправившись, принялась хозяйничать, печь вкусные пирожки с картошкой и луком, Редлиф был просто счастлив и больше всего боялся, чтобы не объявилась Кэте. Так прошло лето. Но в разгар осени начались яростные бомбардировки, и однажды поздним вечером, когда Анна с сыном отсиживались в винном подвале, а хозяйева были приглашены к знакомым на день рождения, в дом Редлифов угодила бомба. Начался пожар, железную дверь заклинило, а решётка не поддавалась. Между тем, бутылки с вином от жара стали взрываться. К счастью, к ночи вернулись Редлифы, выбили решётку и извлекли пленников. Дом разрушен был наполовину, в нём можно было ещё гнездиться, к тому же гараж уцелел, а соседи приносили одежду и одеяла. Но им как лишившимся крова предстояло зарегистрироваться. К счастью, в полицейский участок тоже угодила бомба. Можно было потянуть время.

И вдруг на следующий день после бомбёжки, ближе к вечеру, Михаэль встретил на улице Марту Шеве, которая, не имея вестей от Кэте и зная о страшной бомбардировке Вальдесру, отправилась на поиски. Преодолев недовольство Редлифов (Рольф даже заплакал), она увела Анну с сыном к себе в Каульсдорф, оставив свой адрес и пригласив приезжать. У Марты их нашла Лона, стал даже дважды в неделю приезжать Кохман, уроки возобновились. Между тем, грохот артиллерии на востоке становился всё громче, и вот уже в середине апреля 1945-го по главной улице посёлка мчатся советские танки. На Берлин! А

вскоре в дом вломились русские солдаты. К счастью, с ними был офицер. Когда он пытался выяснить у Михаэля, кто же он – еврей или немец, тот затруднялся ответить. Он объяснял непонятливому, что он и то, и другое, а точнее – немецкий еврей. Капитан не поверил подростку, потому что знал, видел, что Гитлер сделал с евреями. Только когда Михаэль с грехом пополам прочёл кадиш сироты и главную молитву евреев «Шма, Израэль», недоверие было сломлено. Пришелец слушал молча, и слёзы катились по его загорелому лицу – капитан оказался евреем. Ему предстояло узнать, что не все немцы были убийцами.

[217]

За неделю до победы случилось страшное. 30 апреля к ним в гости приехали Редлифы и уговорили мать и Мартхен отпустить Михаэля в Вальдесру. Наутро ребята отправились в лесок, где они всегда собирали осколки снарядов и авиабомб. Там они натолкнулись на русского солдата, им почти удалось убежать, но выстрел догнал Рольфа. Тот в шоке не осознал, что ранен смертельно, и некоторое время отвечал на реплики друга. Когда Михаэль на себе дотащил его до дома, Рольф был мёртв. Старый Редлиф обезумел. Склонившись над телом сына, он твердил одно и то же: «Это мне наказание за то, что я возил евреев туда, где их ждала газовня. Бог забрал за это моего сына. Он страшно покарал меня за этот грех». Он так и не оправился и, будучи не в себе, жил заботами Мартхен и Анны.

Назвав почти всех помогавших Дегенам поимённо, должна рассказать о первом из спасителей, кого они встретили на своём крестном пути. Офицер СС, юный Манфред Шенк, случайно увидевший на улице прекрасную еврейку в конце 1939-го и без памяти влюбившийся, стал помогать ей, как он объяснил позже, из «чувства долга», которое воспитали родители, верующие христиане. Родители жили под Штеттином в своём имении, союза сына с нацистами они не одобряли. Юнцу же поначалу кружила голову причастность к партии власти, военная форма и прочая атрибутика наци. Когда он рассказал родителям об Анне и её сыне, они стали передавать еврейской семье дефицитные продукты. Не имея никаких шансов на ответное чувство, Манфред помог Анне добиться приёма у самого шефа гестапо и забрать мужа (точнее, его живой труп) из Заксенхаузена. Михаэль помнит, как рыдал «чумной нацист», как они его между собой называли, припав к коленям матери и рассказывая ей о том, что он увидел в Дахау, где побывал по долгу службы. Влюблённый немец успел предупредить их о готовящейся заключительной акции гестапо по очистке Берлина от евреев, велел немедленно покинуть квартиру и тем самым помог избежать ареста. Это была их последняя встреча.

Когда войне пришёл конец, родители Манфреда отыскивали выживших Дегенов в Берлине и рассказали, что после того, как их сын подал заявление о выходе из партии, он был схвачен, и подвергнут мучительным допросам. Отправленный со штрафниками на восточный фронт, он погиб под Старой Руссой.

Да, не все немцы были убийцами. Михаэль не мог забыть заботу Эрны и Кэте Нихоф, их глаза, излучавшие доброту, погибшего друга Рольфа, Мартхен, умершую от рака на исходе 45-го. Он не отходил от неё почти месяц в американском госпитале, куда её поместил всеми правдами и неправдами их покровитель, советский офицер. Михаэль семь дней сидел по ней «шиву» (траур у евреев по близким родственникам). Может быть, поэтому у Михаэля нет к немцам ненависти. У него ведь другой опыт, чем у переживших Освенцим.

После 9 мая 45-го сложившиеся «еврейско-немецкие связи» не распались, наоборот, укрепились. Теперь Дегены с помощью советского офицера, который выставил охрану возле их дома и опекал весь год, помогали своим спасителям-немцам выживать в первые послевоенные месяцы, когда то и дело звучало: «Немцам запрещено!» Налицо зеркальное повторение ситуаций за одним исключением: газом травили, как верно заметила мать Михаэля, только евреев, немцы этого не пережили.

Читая книгу по первому разу, мы были захвачены динамикой сюжета, при повторном чтении Мариана фиксировала наше внимание на личности каждого из «опекунов» Дегенов, на том, что побуждало их помогать евреям. Мы вслушивались в разговоры этих людей, в которых часто мелькало имя Гитлера, а иногда и Сталина. Русская эмигрантка, бежавшая от большевиков, осколок аристократии, Людмила Дмитриева, предоставлявшая Дегенам убежище за солидное вознаграждение, рассуждает: «Не уверена, что нам с Гитлером не было бы лучше, чем со Сталиным. Это для евреев Гитлер не подарок». Рисковая женщина Лона, это бесцеремонное «дитя пролетариата», отвечает: «Будь спок, Людмила! Дарю тебе моего Гитлера вдобавок к твоему Сталину. А что?! Отличный гешефт!» У Михаэля возникло подозрение, что Людмила, дав приют евреям, готовила себе алиби на случай победы русских (после Сталинграда вера в фюрера у многих дала трещину). Мне эти разговоры интересны, хочется понять, как себя вели и чувствовали немцы «под Гитлером». И тут принцип уравниловки не срабатывает, ведь были разные немцы.

Действие книги доведено до 1949 года. Семнадцатилетний Михаэль добирается до Израиля и находит старшего брата, раненного в войне за Независимость. Их встречей в госпитале заканчивается

книга. «Не все были убийцами» стала бестселлером. По ней был снят телевизионный фильм, показанный по каналу ARD, но мне его увидеть не довелось.

Почему я вернулась к книге Дегена? Недавно в Вуппертале, где я читала лекцию в клубе наших соотечественников, осевших в Германии, ко мне обратилась немолодая женщина, москвичка Кира Немировская. Когда-то она прочла мою заметку о Дегене, а теперь протянула мне объёмистую машинопись перевода его книги на русский язык, который она сделала, чтобы поглубже погрузиться в немецкий. Переводила она книгу Дегена из чистого энтузиазма и справилась неплохо. Ознакомившись с переводом, я заинтересовалась, как сложилась жизнь автора книги в новом тысячелетии. Главный источник – интернет.

В одном из интервью Деген рассказал, как возникла книга. Будучи в Америке, он встретился с писательницей, чья судьба была схожа с его собственной, по этому случаю состоялась их беседа, которую показали по телевидению, и через несколько дней поступило предложение от издателя написать книгу. «Я не уверен, что решение писать было правильным. Вспоминать всё и переживать заново оказалось настоящей мукой. Ведь пережитое было отчасти вытеснено из сознания, я был хорошо устроен в Германии, и мне было не трудно чувствовать себя здесь на своём месте. А эта книга будто разорвала меня на части, началось с того, что я перестал подавать руку немцам старше семидесяти. Вдруг как отрезало, не мог и всё. Конечно, со временем это прошло. Всё постепенно встало на свои места». Когда я прочла это признание, Деген стал мне ближе. У меня, слава Богу, нет его опыта, но и я первое время в Кёльне, наблюдая в метро стариков, мысленно примеряла на них форму с рунами в петлицах и цепенела.

В 2007 году вышла вторая книга Дегена «Моя святая земля. О поисках моего потерянного брата». Побуждением к её написанию послужили тысячи читательских писем, и в каждом – один и тот же вопрос: «Что происходило с вами в Израиле дальше? Как ваш брат?» «Писать эту книгу было много легче, – признаётся он. – Она меня не разрушала. Но, с другой стороны, это был совершенно иной опыт. Ступить на израильскую землю было огромным событием для меня, семнадцатилетнего. Правда, многое не запомнилось, помогал фотоальбом». Почему же он не остался в Израиле? Такой вопрос ему задают частенько. Он не лукавит, отвечая.

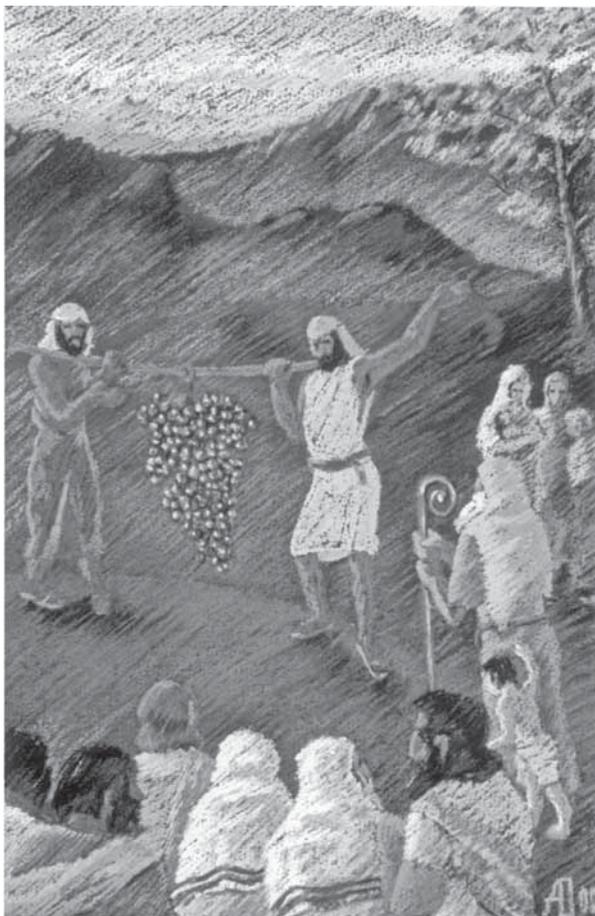
Деген вернулся в Германию, поскольку решил стать актёром. Иврит не стал его языком настолько, чтобы свободно чувствовать себя на сцене, а немецкий был родным. К тому же, как было сказано, он с

детства понял, что нельзя всех немцев стричь под одну гребёнку. Они были и есть разные.

[220]

Во время телевизионной передачи Деген рассказал об одном недавнем эпизоде. Кончился его авторский вечер – презентация книги, реакция публики была дружественной. Все покинули зал, осталась одна старушка. Думая, что воспоминания о прошлом так разбередили душу, что, возможно, ей стало нехорошо, он обратился с вопросом, что с ней, не нуждается ли она в помощи. Глядя ему в глаза, старушка произнесла с ненавистью: «Вот сижу я и думаю, почему же тебя не сожгли?!» Конечно, случай – из ряда вон. Нет, не все, не все одинаковы. Нужно учиться отделять зёрна от плевел. Нам ведь это заповедано.

* *Michael Degen. «Nicht alle waren Mörder. Ein kindheit in Berlin». München, Econ Ullstein List Verlag, 2001. – 332 S.*



[221]

Д и П / 2017

Новые переводы

Валерий Матэ́тский

С немецкого

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

(1875 – 1926)

ТЫ, ИЗНАЧАЛЬНО ПОТЕРЯННАЯ

Из: «Стихотворения 1910 – 1922»

Ты, изначально потерянная,
никогда не приходившая любимая,
я не знаю, какие мелодии тебе драгоценны.
Но я, уже, больше не пытаюсь предвосхитить тебя
в надвигающемся будущем. Все необычные
видения во мне: мелькающие пейзажи,
города, и башни, и мосты и непре-
двиденные серпантины дорог,
и величие некоторых, боже-
ственно созданных стран –
всё усиливает во мне,
тебя, исчезающую.

Ах! Сады – это ты!
Я смотрел на них с такой
надеждой. В одном загород-
ном окне – ты почти встретила
мне, задумчивому. Я нашёл переулки,
по которым ты
только что, проходила, и иногда, магазинные зеркала
становились ещё головокружительней от этого и смущали меня
сумасшедшей игрой отражений. – И кто знает, не одна ли
и та же птица прозвучала в нас, одиноко,
той, вечерней порой?

Париж, зима 1913/14

НЕВЕСТА

Из «Книги образов».

Где, мой милый, голос твой?
Я его так ждать устала у открытого окна.
Синий вечер потеряла,
среди аллей платанов старых –
я одна.

[223]

Но не вздумай в стенах ночи
сладкозвучием любовным мои руки заточить.
Мне хотелось бы однажды,
всю тоску, чернильной жаждой,
в сад излить.

ПАНТЕРА

(Ботанический сад, Париж)

Глаза её скользят по прутьям мимо.
Изранены железной прямоюй –
невидяще взирают в мире зримом,
на сотни прутьев, в клетке с пустотой.

Упругий ритм размеренного шага,
плывёт по кругу в «крошечных часах» –
пружиной обессилевшего мага,
уснувшего в бесчувственных веках.

Лишь, иногда, глаза, блеснув устало,
раздвинут занавес зрачковой черноты,
и впускают в сердце кованное жало
отчаянно напрягшейся, тщеты.

БАРТОН ЛИ ХЕЗЛВУД

(1929 – 2007)

С английского

ВИННЫЙ РАЙ

Песня

[224]

Д и П / 2017

(Она) Клубника, вишня и весенний поцелуй,
я к ним добавила вино из летних струй.

(Он) Гуляя в городе и шпорами звеня,
Я ткал любовь свою из трелей соловья,
ты услышала и, с высот пернатых стай:
я подарю тебе... мой винный рай.
О... о... о... воф... самурай!

(Она) Клубника, вишня и весенний поцелуй,
я к ним добавила вино из летних струй.
Отбрось-ка шпоры серебром за звёздный край –
я подарю тебе... мой винный рай.
О... о... о... самурай!

(Он) Глаза и губы у меня огнём горят.
Хочу я встать, но мои ноги – ватный ряд.
Она утешила: расслабься, самурай!
Потом плеснула мне... свой винный рай,
В... а... а... й... самурай!

(Она) Клубника, вишня и весенний поцелуй,
я к ним добавила вино из летних струй.
Отбрось-ка шпоры серебром за звёздный край –
я подарю тебе... мой винный рай.
М... м... м... самурай!

(Он) Когда проснулся – солнце плещется в глаза.
Исчезли шпоры и троится голова.
Она забрала мою саблю, сердце,.. вай!
Но подарила мне... свой винный рай.
О... о... о... воф... самурай!

(Она) Клубника, вишня и весенний поцелуй,
я к ним добавила вино из летних струй.
Отбрось-ка шпоры серебром за звёздный край –
я подарю тебе... мой винный рай.
А... а... а... ох... самурай!

1966

[225]

ИНГЕР ШИВОНА М. ТУРВЮНД

с английского

Я МОСТ, Я ГУЛЯЮ

Я мост, я гуляю,
а ты поёшь и прыгаешь
и взъерошиваешь мои волосы, торопливо,
как ветер усталому воробью.
Я вижу нас,
сидящих в торжественном месте.

Мы
наслаждаемся этим местом,
поскольку оно опьяняет,
как вино,
и нам весело от того,
что мы чувствуем себя здесь, как дома.
Мы растягиваем свою дегустацию,
а ты играешь необычными словами,
которых я никогда не знала
и я, по-прежнему загадочна,
но мой голос,
как воробей,
взъерошен.

Мы
открываем друг друга
каждое мгновение, как животные,
откапывающие земной запах под листьями

и съедающие их –
мы целуемся,
и создаём мир, в котором мы,
усталые воробьи,
звеним друг в друге, как струны,
и всякий раз, когда мы в пути,
я вспоминаю,

что мы пели в то время
так, что до сих пор
слышим друг друга.

НЕСИТЕ МЕНЯ В ЗИМУ

Задумчивая, в вязанном шерстяном платье,
(о, не показывайте мне новую осень на крышах)
я вижу воду, пытающуюся одеть дождём день,
в то время как я
беспокойно пробую найти те вещи,
которые, я хотела бы, в этот раз,
использовать более уверенно,
так как знаю, что они,
созданные древним способом дуновения,
формируются в моём теле
так, что должны заставить меня задохнуться,
и сделать мое тело меньше снежинок,
которые я помню с тех пор,
когда я была маленькой...

О, не показывайте мне,
как мои руки превращаются в прялку,
потому что так я их, сразу теряю.

Я поднимаю свою голову,
чтобы окинуть взглядом далёкий горизонт,
так, как это делают все путники во время странствий.
О прекрасная зелень дорог!
Я иду, то быстро, то медленно
и храню это в своей голове,
и хочу стоять на берегу моря,
отдыхая от горного восхождения

(никогда не хотела оказаться в горах!)
Откуда они взялись, эти танцы гор,
что так жестоко,
разорвали мою тишину
на части
(пустота никогда не была словом,
которое становится непокорной вещью).

[227]

Теперь, именно эти, проклятые горы
и я, не желающая говорить,
и все люди,
все те, кто слабеет без моря,
и я, которая без моря – меньше чем снег,
мы гуляем в кругах,
отдыхающих на поверхности воды.

О, я не хочу быть
дворцом!
Я не хочу быть
тесной комнатой!
Я не хочу быть
замком или замочной скважиной,
или человеком!
Я хочу быть
растением,
которое растёт в тишине,
и взрывается и плачет в цвету,
насмехаясь над крышами...

О, не показывайте мне, эту новую осень,
но несите меня в зиму,
где я могу с удовольствием прясть шерсть
и пряжа сделает меня новой,
в приближающейся ко мне старости,
одевающей дни в снега,
а не в дождь.
И заставит меня меняться
и снова превращаться в снег
и стать маленькой, и стать другой,
и стать прежней!
Снова и снова,
в каждом новом пути.

О, не показывайте мне, то, что я забыла,
но постройте новое так,
чтобы идущая ко мне старость
не была так жестока!

[228]

С норвежского

РОЯЛЬ, ИГРАЮЩИЙ БЕЗ НАС

Всё течёт,
как музыка молочно-белого рояля,
благодаря чему

я вижу Вас, как раз,
участником автогонок
на всех новых болидах,
которых мы не «вкусили» тогда,
когда были маленькими кошмарами,
громко поющими между
пальмами, и Вы,

Вы,
известный своим волчьим нравом,
пришедший, чтобы сожрать всё это,
Вы показали, вдруг, разум
и дали имя всему,
и оценили мой
маленький мир,
в котором всё время возникали
еловые иглы, до того,
как его бросили в море
свеже-выпавшего снега.
В море холода.
В соль земли,
разъедающую слова о мире
и расщепляющую их на множество,
спрашивающих меня:
– Не я ли есть,
тёплая рука дождя победы?

Я вижу Вас за роялем,
играющем без нас.
И Ваш смех,
по-временам,
когда Вы старательно
вытягиваете руки,
выталкивая время назад,
превращается в лестницу,
по которой я восхожу и восхожу
на Ваш рояль,

играющий без нас.

[229]

Д и П / 2017

Валерий Матэцкий

Леонид Бердичевский

Сидиш

ИЦИК МАНГЕР

(1901 – 1969)

КИНЕРЕТ

Много дней и ночей я прожил на чужбине, –
наконец, я вернулся в родные края.
У меня есть рубашка и пара ботинок, –
это скарб мой, и большего нет у меня.

Я – поэт. Пыль родную вкушал я с пелёнок, –
сам я, – Родины пыль, сам я – Родины плоть.
Я вернулся домой, и судьба благосклонно
приняла меня, – так повелел ей Господь.

Перед гладью Кинерета стану я гордо,
обниму зорким взглядом озёрный простор,
чтоб молитву пропеть, напрягая аорту,
частотою дыханья усилив задор.

Красотою Кинерета я очарован,
с ним свиданье даёт много творческих сил, –
для сюжетов поэзии, звонких и новых, –
я уверен, – Господь их в сюжеты вселил.

ПАУТИНА СЕРОГО ТУМАНА (баллада)

В паутине серого тумана
сумрачный рассвет едва угадан.
У костра цыган терзает песню,
нарушая хрипом тишь округи.

Впереди дорога бесконечна, –
ночь её то к саду взгляд приводит,
то наверх летит, то вниз сползает, –
листья, под ногами, как пасьянсы.

Дамы, короли, тузы, валеты
исполняют осени ноктюрны, –
дамы и тузы в любовь играют,
блеянье ягнят плывёт из хлева.

В нерешительности пять евреев, –
влево им идти, вперёд иль вправо?
Чёрные зрачки застыли скорбно –
бессловесность задержала мысли.

Вот туман рассеялся, и небо
дружелюбно заглянуло в окна, –
считывает в комнатах желанья,
и мечты, что разбрелись в тумане.

Ставни и гардины распахнулись,
осень зашуршала листопадом, –
широка палитра звуков ветра, –
подтверждает осени полёты.

Переключка смешанного леса, –
будто волчьи стаи, угрожает.
Слышен стон прохожего: «О, Боже,
помоги осилить испытанья!»

К ночи звёзды разбрелись по небу,
тишины простор смежил ресницы.
Паутина серого тумана
песни одолжила сновиденьям.

[231]

С французского

ЖАН МОРЕАС

(1856 – 1910)

ИЗ КНИГИ «СТАНСЫ»

* * *

С тобой мы близнецы, Париж!
Лишь солнца луч
Блеснёт и теплотой повеет над землёю,
И тут же спрячется на небе, среди туч,
И холод всё вокруг задёрнет пеленою.

Тоска меня возьмёт, – не стану горевать,
Наперекор беде я буду ждать удачи,
Она придёт ко мне, и я смогу опять
Дождаться радости и всё переиначить.

* * *

Когда появится осенняя прохлада,
и листопад цветным ковром украсит пруд,
и мельницы вздохнут, и робко, виновато
пропустят сквозняки, и крылья их замрут,

Тогда я у пруда на гладкий камень сяду,
И в зеркале воды свой распознаю лик,
И захлебнётся солнце в зареве заката,
И мой погасит лик, что только что возник.

* * *

Под шумным ливнем, полем, по диагонали,
По лужам, медленно я брёл в свинцовый день,
И проблески зари в ту осень отдыхали,
Но воронам кричать теперь уже не лень.

[232]

Вот, вдалеке сверкнули молнии разряды,
И Аквилона вздох стал тяжек и угрюм.
Мне приступ бурь испортить жизнь рада,
И даже грома смех не снял тяжёлых дум.

Во всю развёрнута работа листопада,
Осеннею листвой укрыта ширь дорог.
Но с криком воронов нет никакого сладу, –
Хоть на судьбу мою он повлиять не смог.

[233]

* * *

Рассвет моргнул. И травы в изумруде,
И петушиный крик.
Аккордами своих дневных прелюдий
День подарил нам миг.

Но, мой Париж! Ты дремлешь в эту пору,
Ты ночью одержим,
Я знаю, ты засуетишься вскоре
И протрубишь свой гимн.

И я душою вострепнусь от скуки,
Приветствуя зарю.
И под шальные сердца перестуки
я что-то сотворю.

С польского

ВИСЛАВА ШИМБОРСКА
(1921 – 2013)

ВЛЮБЛЁННОСТЬ

В тишине разобрать едва
песни вчерашней фразы:
«Ты верхом, я рядом пойду» –
или это нам показалось?

Улыбки наши грустны, –
в них влюблённости нежность,
с жалостью к одиноким.

Лишь собой восхищенье,
и иное не тронет:
ни радуга среди ночи,
ни бабочки на снегу.

И только одна бывает
в сновиденье разлука,
Но всё-таки сон приносит
упоенье от встречи,
что преподносит утро.

ЗА БОКАЛОМ ВИНА

Под твоим прекрасным взглядом
чувствую, что хорошею.
Принимаю, как награду,
от тебя я этот дар.
Становлюсь произведением
глаз твоих, и верю, – мыслей,
даже крылья для полёта
ты мне навсегда отдал.

Будто влил вино покрепче,
им наполнив все бокалы,
мы украсили собою
старый наш, добрейший стол.
Я придумана тобою
с головы до самых пяток.
Почему мне так неловко,
не возьму себе я в толк.

Я без умолку болтаю
обо всём, что глаз зацепит:
о гвоздиках, и о розах,
суетливых муравьях.
Хохочу без остановки,
бормочу ни к месту строки,

Как блаженная, танцую,
думаю о пустяках.

Вот, Киприда – вся из пены,
а Минерва – глаз Господен,
Ева – из ребра Адама, –
ну, чего на свете нет?
Но когда ты взгляд опустишь,
я увижу, что на стенке
только крюк торчит железный –
там, где твой висел портрет.

[235]

Д и П / 2017

Леонид Бердичевский

Белла Якубова

С немецкого

ЙОЗЕФ ФОН ЭЙХЕНДОРФ

(1788 – 1857)

В ЛУННУЮ НОЧЬ

Небо в сладком возбужденье
Землю жарко целовало.
Явно, – это же мгновенье
Повторить земля мечтала.

Ветер мчался над лесами,
Поднимался к поднебесью.
Пролетая над полями,
Колосками пел он песни.

Я душою, с наслажденьем,
До луны б рукой коснулся.
Ну, а после, с упоеньем,
Лугом бы домой вернулся.

ГЕРМАН ГЕССЕ

(1877 – 1962)

В ПОТЁМКАХ

Я совершаю странствие в потёмки, –
В них всё отдельно: камень, звук и куст.
Деревья шелестят ворчливо, громко, –
Я слушаю, хоть душу топит грусть.

Мой мир был полон дружбы и заботы, –
Дороги свет мне ярко освещал.
Но вот, в судьбу мою ворвался кто-то, –
В потёмки путь мне властно указал.

Теперь один, в потёмках я блуждаю,
И неизвестность раздробила мир.
Иду наощупь я. Куда? Не знаю, –
Где точный отыскать ориентир?

[237]

Я совершаю странствие в потёмки, –
В уединенье жить пришлось теперь.
От дружбы и мирских забот в сторонке, –
Туда, где прежде жил, закрыта дверь.

СТУПЕНИ ЖИЗНИ

Всё закончится когда-то.
Нет бессмертья, – это точно.
Всё исчезнет без возврата.
Тонут дни в объятьях ночи.

Что кому Господь отпустит?
С детства всем – дорога к смерти.
Радость утопает в грусти. –
Так случается, поверьте.

А затем опять, сначала, –
Так назначено природой.
Очень много, крайне мало,
Час от часа, год от года.

ЭРИХ КЕСТНЕР

(1899 – 1974)

МАЙ

В нарядной юбчонке, при сердцобиенье
Девчонка с венком на своей голове.
И, кажется, Моцарт несёт вдохновенье –
В шикарнейшей карете, – летит в волшебстве.

И кровь закипает. С ним хочется вместе
Природе помочь, нарядить её в май.
Нам птицы несут свои звонкие песни.
Мы просим природу: «Скорей воскресай!»

На яблоне спешно плоды созревают.
Берёзы, как дамы, – кивком, реверанс.
На крошечных флейтах деревья играют
Симфонии счастья, – их вечный сеанс.

Карета летит исключительно к маю.
Все ею довольны. Все вдохновлены.
Сирень и акация вновь расцветают
Под властью душистой и светлой весны.

Тоска растворилась, и радость на лицах.
О снеге не вспомнить, лишь солнце принять.
Фантазия жизни по маю стремится
И просит по-новому жизнь начинать.

Так, каждой весной, всем май начинает
Дарить вдохновенья весёлую нить.
И хочется вечно всё заново к маю
Природы сюрпризы нам благодарить.

In memoriam

ПАМЯТИ МАРИНЫ АВЕРБУХ (ЛУРЬЕ)

(10.07.1949 – 26.04.2017)

Боль утраты бесконечна. Только смерть Человека приводит к осознанию влияния его на окружающих – членов семьи, коллег, и, даже, на едва знакомых людей. Невольно окунаешься в воспоминания: встречи, беседы, общие застолья, бескорыстная помощь, оказанная этим Человеком. Вокруг возникает пустота, которую трудно кем-нибудь восполнить.

Последние 13 лет – тому подтверждение. Все эти годы Марина была рядом с нами. Она обладала скромностью, интеллигентностью, тактичным отношением к коллегам по Клубу, особым взглядом на литературную жизнь.

Марина родилась в Москве, там же получила высшее медицинское образование. Сферой её врачебной деятельности были клиническая фармакология и иридодиагностика.

В нашем Клубе Марина появилась в 2004 году с большим литературным потенциалом. И сразу же её произведения появились в Альманахе «До и после», автором которого она была до своего последнего дыхания.

Кроме того, её произведения были опубликованы во многих других изданиях.

В 2012 году вышла собственная книга Марины, под названием: «Я – Марина».

Она безудержно любила жизнь, её радовало каждое мгновение... Увы... К глубокому сожалению, ей было отпущено немного лет.

Трудно говорить о ней в прошедшем времени. Её мягкий, общительный характер, её доброжелательность, останутся с нами навсегда. Мы глубоко скорбим о её безвременном уходе, и выражаем соболезнование её мужу, другу, в чём-то, наставнику, – Станиславу Стефанюку. Мир праху Марины. Мы будем помнить о ней всегда.

Клуб Литературы и Искусства. Авторский коллектив Альманаха «До и после».



[239]

Д и П / 2017



ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Игорь Коган	6
Генриетта Ляховицкая	25
Анжелла Подольская	28
Марина Овчарова	40
Мина Полянская	48
Леонид Бердичевский	57
Нора Гайдукова	69
Саади Исаков	78
Вера Фёдорова	85
Константин Кербель	90
Валерий Матэтский	104
Яков Раскин	117
Бронислава Фурманова	128
Станислав Стефанюк, Марина Авербух	137
Елена Зельгер	143
Алла Киселёва	148
Татьяна Устинская	151
Давид Брацлавер	154
Виктория Пышная	163
Альберт Леин	167
Михаил Вайман	171
Евгения Воробьёва	175

**ПУБЛИЦИСТИКА.
МЕМОАРЫ. ЭССЕ**

Леонид Бердичевский	178
Генриетта Ляховицкая	185
Карл Абрагам	192
Мина Полянская	204
Грета Ионкис	211

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Валерий Матэ́тский	222
Леонид Бердичевский	230
Белла Якубова	236

In memoriam

Памяти Марины Авербух	239	[241]
-----------------------	-----	---------

[242]

Д и П / 2017

